

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 15

1986



*Алексей МЕНЬКОВ*

# **В ПОРУ ЗРЕЛОСТИ ТАБАКА**

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 15

---

Алексей МЕНЬКОВ

**В ПОРУ  
ЗРЕЛОСТИ ТАБАКА**

*РАССКАЗЫ*

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1986

*Алексей МЕНЬКОВ*

*Алексей Титович Меньков родился в 1938 году в деревне Рословка Брянской области. После окончания семилетней школы работал в колхозе, служил в Советской Армии, был шахтером в Донбассе, там и пошел в вечернюю школу. В 1966 году поступил учиться в Литературный институт им. А. М. Горького, с 1971 года работал в издательстве «Современник», в правлении Московской писательской организации.*

*Алексей Меньков — автор семи книг стихов и прозы: «В августе...», «Дубрава», «Речка-невеличка», «На берегу Весны», «Снежная радость», «Накануне осени», «Две рябины при дороге». Некоторые его рассказы переведены на английский и испанский языки.*

*Член Союза писателей СССР.*

## ИЗ ДЕТСТВА АНДРЕЯ ЧЕРНЫШЕВА

### I

Андрейка смотал удочку, положил ее рядом с зеленым, малость погнутым солдатским котелком, опустился на колени в пожелтевшую сухую траву и, радостно вздохнув, стал рассматривать золотистых карасиков, шныряющих туда-сюда. Августовское солнце невыносимо пекло его давно не стриженную голову, хотя густые белесые волосы на вид были надежной защитой не только от солнца, — даже от града, если ни с того ни с сего начнет лупить, как уже не раз бывало за лето. «Скоро мама на обед придет, — думал Андрейка, уткнувшись носом в котелок, — обрадуется такому улову. Под вечер еще приду, после того, как попасу Марфушку».

По пути домой Андрейка завернул к Грише Кузнечнику, своему другу. Гриша жил с мамой, бабушкой и дедушкой. Дедушка его, Герасим Прокопович — инвалид, однорукий. А Гриша худой-худой и длинноногий, потому и дразнят его Кузнечиком.

Два дня тому назад Гриша упал с вербы и зашиб на левой ноге большой палец, и прыгает он пока на одной ноге.

Андрейка повесил котелок на плетень, а сам сел в теньке под вербой, рядом с Гришей. Гриша строгал себе новый наган.

— У тебя ж есть наган, для чего тебе другой? — спросил Андрейка.

— Да-а, есть, — вздохнул Гриша, — сегодня утром дед пошел в чулан и нашел его за ящиком с инструментами. В печку бросил. За уши еще натаскал. Он же такой... Говорит, что скоро в школу, так учитель совсем уши оторвет за наган. А Васька Жаворонок уже в третий класс будет ходить, а все равно у него есть наган. Ты знаешь что, Андрейка! Дед сегодня маме говорил, что в Киреевке письмо пришло от одного солдата, который пропал без вести. Раненый он. Где-то далеко. Может, и твой папка найдется, он тоже пропал без вести. На моего-то похоронка приходила, а на твоего нет. Дед говорил, что могут еще многие отыскаться, раз война закончилась.

— И это правда, что в Киреевке нашелся солдат?! — загоревшийся, расширенными глазами впился Андрейка в лицо друга.

— Дед говорил, понятное дело, правда, — спокойно продолжал строгать Гриша. — Только тот солдат молодой еще и, наверное, в плену был: он весь израненный.

— Ну и что ж, — вздохнул Андрейка, — вон Митькин папа тоже весь израненный, а все равно Митьке хорошо. Зимой он ему коньки сделал и лыжи. И гармошку губную привез.

— Зато Митька жадина, никому не дает поиграть. Я ему картуз даже слив нарвал, чтоб дал поиграть маленько.

— Да не-ет, он не жадина. Он мамки боится. Она его заставит свиней пасти, а он с ними загуляется, а свиньи в огород. Помнишь, как отлупили его один раз?

— Не жадина... А чего ж он у меня просил слив за то, чтоб я поиграл?

— У них же нет своих слив.

— Ну и что. Я б ему и так дал. А он-то просил за гармонь.

— А этот, солдат, — снова покраснелся Андрейка, — пишет, что придет скоро или как?

— Дед ничего об этом не сказал. Ну, конечно, придет, раз нашелся... Не оставаться ж ему там, в чужой стороне...

Андрейка молча встал на ноги, снял с плетня котелок, взял удочку, будто бы дремавшую около вербы, и сказал Грише:

— Ну я пошел, Гришка, я к тебе еще приду сегодня, а теперь домой надо.

— Еще посидел бы, а то мне тут одному скукота-а...

— Не, Гриш, пойду. Потом я приду к тебе.

Андрейка несколько метров прошел шагом, а когда завернул за угол Антонихиной избы, подтянул повыше темно-синие с заплаткой на левом колене штаны и припустил домой так, что даже караси в котелке сталкивались лбами... Только он открыл калитку, из сеней с пустым ведром вышла мать.

— Где тебя носит до сих пор, а?! — сердито сказала она. — В избе капли свежей воды нет; Ивантеевых куриц из своего ячменя выгнала...

— Мама! Мама, какую я но-овость сегодня услышал. — Андрейка поставил удочку в угол между сараем и поветью и с котелком подлетел к матери.

— Какую ты там новость услышал?

— Гришкин дед говорил, что в Киреевку пришло письмо от солдата, который без вести пропал. Он раненый, не в нашем государстве находится. Скоро домой придет. Наш папка тоже, может, скоро письмо прийдет. Гришка говорит...

— Правда, такое слыхал? — Мать присела на ступеньки.

— Конечно, правда, — даже возмутился Андрейка, — дед говорил, что многие могут еще отыскаться...

— Я-то и сон видала... О-ох, если б наш папка отыскался... Трудно нам... Тебе в школу скоро, штанов новых нет, Наде пальто к осени... Бедняга, света белого не видит — от зари до зари с телятами возится... Похудела, вся как былиночка стала... У меня часто голова побаливает; в больницу б надо сходить, да когда уж тут — в колхозе дел неупро-рот, и свой двор...

— Вот увидишь, мама, папка наш живой где-то, он обязательно отыщется,— Андрейка притронулся к шершавой маминной руке и взял ведро.— Я сбегая за водой.

— Да ладно, Андрейка, я уж сама, а то тяжело...

— Не-ет, мама, что я, не ходил?.. Вон рыба, возьми. Сегодня та-кой клев был!..

Андрейка звякнул ведром о калитку, распахнул ее настежь и, как на вороном коне Вихре, которого он очень любил, понесся к колодцу. На обратном пути Андрейка остановился отдохнуть. Из Михалевого двора колобком выкатился малорослый лохматый Андрейкин дружок Шарик. Когда Андрейка его малюсенького — с кулак — принес от Мишки Петрасенкова и спрятал в сеннице, чтоб мать не увидала, потому что лишней еды не было, а сторожить во дворе особо нечего, ему, Андрейке, казалось, что у него появился младший братик. Он отрывал от себя и носил ему молоко, картошку, супчик. Шарик быстро окреп, и однажды мать услышала доносящееся из сенницы залившее тьяканье. Андрейка признался, что Шарик уже несколько дней у него живет, и теперь жалко его отдавать кому-то. Мать крепко не рассердилась, но заявила, что Андрейка будет из своей миски отливать ему. «Мне поросенка нечем кормить, на траве живет, а ты тут собак разводишь, только и не хватало лишнего рта...» — сказала она.

— Шарик, Шарик! — обрадовался Андрейка, как будто он не видал своего дружка бог весть сколько... — Ты чего ж по дворам шныряешь, а? На рыбалку со мной не пошел. Куда летал? Ах ты, мой лохматик, вон к хвосту репей пристал, лапы в глине, где тебя носило?

Шарик крутился волчком, радостно скулил, подпрыгивал, стараясь лизнуть Андрейку в нос.

Мать поджидала Андрейку на крылечке, чтобы взять у него ведро — в сени тяжело вносить. Когда Шарик подлетел к ней и заюлил хвостом, она сказала:

— Сегодня слыхала, что какой-то человек приехал, будет ловить волков ночью. Капкан у него большой, разборный, только для этого понадобится собака. За это он деньгами платит. Может, и твоего попросит, Андрейка.

— Да что ты, мама! Его волк слопает и не поперхнется...

— Говорят, будто не доберется он до собаки. Да ты и сам все знаешь...

## II

Под вечер Андрейка решил не идти на рыбалку, а сходить к правлению колхоза, может, и увидит того человека с капканом. Но увидел он его возле магазина. Седой высокий мужчина с усами рассказывал старикам — те называли его Василием Тимофеевичем — о своем капкане. Андрейка слушал, приоткрывши рот. Старики жаловались, что от волков нет никакого спасу: овец из стада хватают, даже под сараи ночью подкапываются, а на прошлой неделе колхозного теленка зарезал серый, мясо отняли, да все ж это убыток для хозяйства, собак, и тех не щадят. Больно уж много их развелось, этих злодеев.

— Вот Андрейка пушай своего лохматого одолжит на ночку, а, Андрейка?.. Матери двадцать пять рублей дадут,— сказал дед Михаил, положив свою трехпалую руку на плечо Андрейке,— а ежели серый засядет в капкане, то и добавка будет...

Андрейка отошел на два-три шага от стариков и во все глаза настороженно, даже враждебно смотрел на мужчину с усами.

— Ты что ж, испугался, мальчик? — спросил усатый. — Не бойся, с твоим псом ничего не случится. Какой он у тебя, большой?

— Н-нет, он не большой,— тихо сказал Андрейка, пятясь назад.

— Думай, Андрейка, не прогадай, а то пса и другого найдут,— посоветовал дед Михаил.

— Н-нет,— все так же тихо сказал Андрейка, повернулся и, будто бы сорвавшись с привязи, во весь дух помчался домой.

— Надо с его матерью потолковать,— сказал дед Михаил,— она согласится. А пес у него хороший, малорослый, зато голосистый, за ночь не одного серого приманит.

Андрейка прибежал домой и кинулся в сенницу, но Шарика там не было. Где ж он носится, поймают еще. Хотя Андрейка знал, что чужому человеку Шарик не дастся в руки. Через полчаса лохматый кубарем влетел во двор. Андрейка аж вскрикнул от радости.

Утром усатый на телеге повез большой ящик за старое покосившееся гумно к Трифонову болоту. Рядом с ним шел с посохом дед Михаил, а сзади гурьбой пылили босыми ногами мальчишки.

Андрейка матери не сказал о разговоре у магазина. Он закрыл Шарика в сеннице, чтобы за ним не увязался, а сам побежал к речьям — тоже хотелось посмотреть, как будут капкан устанавливать.

На облюбованном месте, возле самого болота, усатый глубоко забил толстый березовый кол, потом из ящика начал вытаскивать серые четырехугольные, сантиметров на тридцать пять — сорок, рамки, похожие на оконные; в каждой рамке на сильных пружинах с двух сторон закреплены четыре острых (два внизу, дваверху), как вилы, штыря. Василий Тимофеевич развязал сверток и вытащил две палочки, похожие на барабанные, только покороче. Он развел



в стороны штыри и, чтобы они не захлопнулись, между ними вставил палочку, вторую палочку вставил под два других штыря,— получилось окно. Тимофеевич осторожно поставил его на землю, отломил ольховую ветку и ткнул в окно. Палочки выскочили, и штыри с глухим лягом сошлись. Дед Михаил покачал головой. Вроде б и немудрено...

Ребята стояли в сторонке и за всем молча наблюдали. Усатый достал гаечный ключ и начал свинчивать рамки.

— Ну что, друзья, смотрите, идите помогайте,— сказал он ребятам, и все подошли к нему, стали поддерживать.— А, вчерашний знакомый,— узнал Андрейку Василий Тимофеевич,— ну как, дашь на ночь собаку? Вот смонтируем, и увидишь, что ничего опасного для пса нет.

Андрейка молчал. Дед Михаил тоже ничего не сказал, он в это время распрягал кобылу.

До самого обеда свинчивали рамки. Получился большой круг. Андрейка побежал домой. Матери он рассказал, где был и что видел, но и на этот раз не признался, что усатый просил Шарика. А когда он после обеда прибежал к болоту, рамы были прикреплены железными тросами к колу. Получилось что-то похожее на шатер. Кол находился в середине круга.

— Ну вот,— сказал усатый,— к этому колу привяжем пса вечером и взведем капкан. Пес будет лаять, визжать, приманивать волка. Серый в темноте не заметит палочек, ткнется в окно, чтоб собаку схватить, и эти острые штыри сверху и снизу намертво проткнут ему шею, палочки-то он выбьет.

— Да Шарик же помрет со страху,— испуганно сказал Андрейка.

— Не помре-от, что ж он, такой трусишка?.. Не бойся, малыш,— улыбнулся усатый.

— А я и не боюсь, я не дам Шарика,— спохватился Андрейка.

— Зря ты, Андрей,— встрял в разговор дед Михаил, скручивая козью ножку,— зря боишься. Что с ним получится, с твоим лохматым, а тут видишь, как выходит: и помощь матери будет, и серого сцапаем, а то, может, и не одного. Бывало такое? — обратился он к Василию Тимофеевичу.

— Двоих сразу не приходилось ловить, но может быть и такое.

— Гляди,— опять предупредил Андрейку дед Михаил,— не прогадай, парень...

— А теперь, друзья,— сказал Тимофеевич ребятам,— все по домам, и не вздумайте сюда приходите. Ни в коем случае, чтобы никто из вас не пытался звести капкан каким-нибудь прутиком. Пружины очень сильные,— он отвел одну и шелкнул,— невзначай попадет рука или нога — проткнут штыри насквозь, и будете тут сидеть. Ясно?

Ребята еще с минуту постояли, переминаясь с ноги на ногу, а потом молча стали поворачиваться и нехотя отходить. Только они завернули за первые лозовые кусты, Васька Жаворонок толкнул Андрейку в бок.

— Ну, что, отдаешь своего лохматого на ночь?

— Не дам,— резко ответил Андрейка.

— Трусишь, да? Эх ты... Да был бы у меня, я б даже не задумывался. Он у тебя добегаётся — серый подстережет и цапнет. Он везде шастает, лохматый твой.

— А я его на цепь посажу.

— На це-епь... Да он всех соседей оглушит своим визгом.

— Он боится, что его лохматый в портки наложит, когда серый будет подходить,— встрял Митька.

— Сам привязывайся к тому колу да и гавкай всю ночь,— зло сказал Андрейка.

— Пускай усатый дает двадцать пять рублей, и погавкаю.

— А что, Митька, садись, все серые сбегутся, в каждую капканную раму-влезут, сразу штук двадцать поймаешь,— захохотал Васька Смык.

— Вот ты в портки и наложишь,— сказал Андрейка, тоже улыбаясь.

На обратном пути дед Михаил и усатый остановились возле Андрейкиного двора. Шарик залился звонким лаем.

— Ого! — сказал Тимофеевич.— Этот малыш — кандидатура номер один...

— Дак я тоже об том толкую, да выйдет ли наш номер, хозяин больно артачится,— сомневался дед Михаил.

— Сейчас мы с ним побеседуем по-настоящему...

Андрейка вышел из сеней, прикрикнул на Шарика. Тот оглянулся, вильнул хвостом и снова отчаянно бросился к приезжим. Андрейка все-таки успокоил Шарика и запер его в сенице.

Усатый присел на лавочку, начал закуривать. Андрейка стоял у калитки. Закурив усатый, затынулся два-три раза и будто бы сам с собой начал разговаривать:

— Помню, в день начала войны сидел я с удочкой у лесного озера. Сижу себе, блаженствую. Рыбка клюет хорошо. Солнышко светит, птички поют, такая радость на душе — словами не выскажешь. И вот прибегают мой сынишка, запыхался, рот открывает, как рыба на суше, а сказать не может. Я испугался, глядя на него, что такое, случилось ли что? И тут он одолел одышку. Война, говорит, война, папочка! И разве мне хотелось покидать такое блаженство и идти на фронт? Нет, чего греха таить, не хотелось. Но я знал, что надо идти, надо! Фашисты ворвались в нашу прекрасную жизнь, и я обязан их уничтожить. Волки тоже творят зло, значит, необходимо и их уничтожить. Дашь им волю — нахально придут вот сюда во двор и на глазах у всех спокойно перегрызут горло и Шарика, и овце, и до коровы доберутся. Вот об этом нам всем и надо подумать...

— Да, Андрейка, человек правду говорит, нельзя волю давать хищникам,— сказал дед Михаил,— приводи вечером своего лохматого, пушай ночку посидит, что с ним станется...

— Твой Шарик станет еще мужественнее, злее; самое для него испытание,— заверил Василий Тимофеевич,— это уж мне известно...

Андрейка молчал. Он стоял погупясь. В его груди неприятно ныло. Представлялась темная ночь; перед глазами пронеслись: капкан, привязанный к колу Шарик; горящие волчьи глаза; пронзительный жалобный визг лохматого, словом, страшная картина, но вдруг мелькнула мысль — маме дадут двадцать пять рублей, конечно, обрадуется; она же не прогнала тогда Шарика, вот и от него будет помощь. И снова перед глазами завертелась прежняя картина, сердце Андрейки больно сжалось.

— Ну что, дружище, по рукам? — встал с лавочки Тимофеевич и шагнул к Андрейке.

— А когда приводить? — вырвалось у Андрейки.

— Вечерком я за тобой зайду, и обратно вместе придем.

— Вот и правильно, Андрейка, вот и хорошо,— удовлетворенно сказал дед Михаил, и они с усатым сели в телегу и поехали дальше, видимо, к нему, к деду.

Остался Андрейка у калитки один, и так ему стало жалко Шарика, что аж слезы навернулись. Он выпустил своего лохматика и ласкал его так, словно вот-вот расстанется с ним навсегда. Вбежал в избу, отвалил кусок хлеба и вынес Шарика.

— Вот тебе, да скорей ешь, а то мама увидит и задаст нам с тобой... А зато мы ее обрадуем завтра, правда? А ты не бойсь, Шарик, серый тебя не достанет. Штыри острые, ка-ак щелкнут, он сразу же и подохнет. Усатый говорит, что ты будешь мужественней. Будешь, да? Только одну ночку посидишь, и все. Больше не-ет, ни за что тебя не отдам. Ладно? Договорились? А то все будут дразнить нас с тобой, скажут, мол, трусы мы трусы, а мы докажем им, вот.

Матери Андрейка сообщил свое решение.

— А если волк вырвется из того капкана, он же разорвет Шарика,— забеспокоилась она.

— Нет, мама, там такие острые штыри, как вилы! Только серый сунется к Шарика, они и цапнут его за шею!

— Да у него ж может сердце со страху разорваться, а? Бедный лохматик...

— Василий Тимофеевич сказал, что он еще мужественней станет.

— Тимофеевич тот наговорит. Сам бы посидел ночку в капкане, небось по-волчьи б завыл...

— Теперь как же... Я ж обещал... Думал, что ты обрадуешься, денег даст...

Мать вздохнула:

— Да она-то, любая копейка, сейчас до зарезу нужна, сынок, я как услышала и сама об этом подумала, только и Шарика уж больно жалко. Попробуй-ка ночку там, а... Покорми его.

Уже стемнело малость, когда подошли к Андрейке усатый и дед Михаил.

— Ну, готов? — спросил Василий Тимофеевич.

— Гото-ов,— ответил Андрейка.

— Только привязать нужно на цепь, иначе он может любую веревку или ремень перегрызть и сам попасть в капкан. Есть цепь? Если нет, то есть у меня.

— Есть, только она короткая.

— Длинная и не нужна.

— А взять ему что-либо поесть там?

— Не стоит, Андрей. Потерпит. Утром поест.

— Дак он еще пуще будет скулить голодный,— пояснил дед Михаил.

Усатый промолчал.

Пришли они на место. Тимофеевич отсоединил несколько туго натянутых тросов, и в середину капкана влез Андрейка с Шариком, а за ними сам ловчий. Вместе они накоротко привязали Шарика к колу — цепь перекрутили в несколько рядов проволокой, проверили — надежно ли, и вылезли наружу. Усатый снова закрепил тросы. Шарик запрыгал, заскулил, затыврал.

Пока Василий Тимофеевич взводил капкан, Андрейка стоял в стороне и подбадривал Шарика. Но вот все окна уже открыты, похоже на крокодильи пасти. Тимофеевич два раза обошел вокруг капкана и отошел в сторону.

— Ну, кажется все в порядке. Ловись, рыбка, маленькая и большая. Значит, так, — обернулся он к Андрейке, — вот тебе деньги, отдашь матери. Я знаю, твой отец не вернулся с войны, и вам каждая копейка дорога. Сюда без меня не приходи. Я за тобой зайду раненько. Придется тебе чуть-чуть недоспать. Я бы и сам выпустил Шарика, да утром будет опасно подходить к нему незнакомому человеку. А теперь — по домам.

Андрейка на прощанье сказал Шарика: не бойся. Хотел еще что-то сказать, но голос его дрогнул, и он молча отвернулся, пошел. Шарик еще пуще заскулил, залаял, да так, что прямо захлебываться стал. У Андрейки зашипало в носу. Все трое молча ускорили шаг.

У калитки Андрейка остановился и чутко стал прислушиваться. Тихо шелестели тополя, проблеяла чья-то овца, у Антиповых звякнули ведрами. Голоса Шарика не было слышно. Минуту, вторую стоял Андрейка, затаив дыхание, и вдруг услышал сначала слабое, едва доносящееся повизгивание, потом Шарик взвизгнул с подвывом, затыврал. Андрейка зажал уши и бросился в сени.

Дважды он выходил на крыльцо и со слезами на глазах возвращался в избу. Он даже не стал ужинать, выпил чашку теплого молока и лег. Долго ворочался, вздыхал, и вдруг сон упал на него мягким невесомым облаком — уснул Андрейка мгновенно.

На рассвете дед Михаил постучал в окно. Мать подхватила.

— Кто там?

— Я это, Антонина, — отозвался дед, — придется тебе своего хозяина разбудить, пора уже...

Андрейка буквально через минуту был уже во дворе. Он поздоровался, поежился от прохлады. Все быстро направились к болоту. Шарик не подавал голоса. Уже и гумно прошли, совсем ничего осталось до места, но по-прежнему было тихо. Андрейка незаметно начал шмыгать носом, всхлипывать. И когда в легком тумане начали проявляться очертания капкана, Шарик заскулил слабо, охрипшим голосом. Андрейка со всех ног бросился к капкану с криком: «Шарик! Шаричек! Шарик!..» Следом, тяжело топая, бежал Василий Тимофеевич.

— К капкану не подходи! Не подходи, Андрей! — кричал он.

Шарик услышал голос Андрейки, радостно запрыгал, завизжал, залаял, но голос его был совершенно неузнаваемый. Вырывалось какое-то хриплое судорожное сипение.

Усатый оглядел капкан и разочарованно выругался:

— А-ах, чер-рт возьми, пусто...

Он обошел вокруг, внимательно приглядываясь, есть ли следы возле капкана. Следов не было. Тимофеевич начал снимать палочки. Шарик крутился вокруг кола, сдавливал себе горло, вилял хвостом. Но вот усатый отсоединил несколько тросов, и Андрейка прыгнул в середину капкана к Шарик. Шарик лизал его в нос, в глаза, сипло повизгивал. Андрейка тоже его целовал и трясущимися руками расстегивал ошейник. Шарик, будто подброшенный мощной пружиной, выскочил за борт капкана. Андрейка кинулся за ним.

— Цепь, цепь возьми, Андрейка! — крикнул ему дед Михаил.

Андрейка без оглядки мчался вслед за Шариком домой.

Больше недели сипло лаял Шарик, но мало-помалу голос восстановился. Мужественней он не стал — наоборот, при появлении возле калитки незнакомого человека лаял, но далеко от сенницы не отходил — в любое мгновение мог спрятаться.

Усатый поймал-таки одного серого, тощего. К колу привязывали колхозного барана и оставляли кусок сырого мяса. Содрал Тимофеевич волчью шкуру и через несколько дней уехал со своим капканом.

### III

Незаметно наступила и скоро прошла солнечная, на редкость сухая, действительно золотая осень. Андрейка учился во втором классе. За партией он сидел со своим другом Гришей.

Надежда на то, что отец Андрейки живой, только находится где-то, помалу начала меркнуть. Новых слухов о том, что кто-то из фронтовиков еще объявился, не было, кроме того, единственного.

Андрейка радовался, что у него есть верный друг Гриша, радовался, что учится хорошо и учитель, Николай Иванович, хвалит его, радовался, что у него есть Шарик. Лохматик подрес, даже голос его погрубел. Часто он провожал Андрейку до школы, иногда и встречал.

Однажды четырехклассник-второгодник — здоровенный Федька Клык (так его дразнили ребята за то, что у него один зуб передний, тонкий и длинный, рос криво), куражась над малышами, сорвал с головы Андрейки шапку и далеко забросил. Шарик, находившийся рядом, со всех ног бросился за шапкой, бережно взял ее зубами за ухо и, как убитую птицу, принес и отдал Андрейке, а когда Федька еще раз хотел сорвать ее с головы Андрейки, Шарик оскалил острые сверкающие зубы и кинулся к Федьке. Ребята хохотали, а Федька струсил.

В первые дни снегопада Шарик только и знал, что бегал и принюхивался ко всем следам: собачьим, куриным, к следам подшитых валенок. Ну, а когда уж с Андрейкой и Гришей он бегал в дубнячке, то от сорочьих и других следов его просто невозможно было оторвать. Гриша убеждал Андрейку, что у лохматого самый охотничий нюх. Но недолго было суждено радоваться Андрейке на своего Шарика.

Зимой в деревню начали чаще привозить кино. Не всегда мать давала Андрейке деньги, больше приходилось смотреть одним глазом в полузамерзшее клубное окно, стоя на одной ноге, сжатым ребятами со всех сторон так, что дышать трудно, смотреть с колотящимся сердцем, со страхом, что киномеханик — «кинщик», как его называли в деревне, — не щадя ни взрослых, ни малышей, может резиновым шлангом хлестнуть по спине, отогнать от окон, мол, нечего задарма смотреть. Такое бывало не раз.

В один морозный лунный вечер шло кино про войну. Андрейка кое-как вцемился между ребятами, прильнул глазом к уголку окна и, затаив дыхание, смотрел, как сражались с фашистами наши бойцы. Все окно было облеплено и малышами, и повзрослевшими ребятами, точно пчелами вход в улей. Слева и справа Андрейку сжимали до боли в боках чьи-то ноги в валенках, как две вмерзшие в снег крест-накрест жердины, давили Андрейку выше колен. Слева дышал на него луком Федька Клык, значит, одна нога его, предполагал Андрейка. Ну да ничего, самое главное — хоть одним глазом, да видит он, как наши поддают фашистам.

Уже оставалось не так долго до конца фильма, когда Андрейке нестерпимо приспичило по малой нужде. Он пробовал даже переступить с ноги на ногу, может, легче дышать станет, но тотчас ему давали тумачков, стой, мол, чего шебуршишься... Андрейка стискивал зубы, но и это не помогало — терпеть совсем уж было невозможно. Он решил

вылезти; от жалости, что не досмотрит кино, аж слезы навернулись Начал Андрейка шевелиться, да куда там... Еще раз сзади кто-то больно толкнул в спину — стой... Тогда Андрейка с большим трудом опустил левую руку, пошебуршил двумя пальцами и, не в силах более выдерживать и вылезти, отпустил все, как говорится, на произвол судьбы... Как раз в это мгновение в кино шел ожесточенный бой. Все смотрели, затаив дыхание.

Но вот бой сменился затишьем, и нога, стоявшая впереди Андрейки, задержалась.

— О-о! — взыв Федька. — Кто это?!.. Кто в валенок налил, а?! О-о, гады! — Федька круто развернулся и схватил за шиворот Костю Марченка, стоящего рядом с ним. — Ты, с-скотина-а!..

— Да ты что! Я и не думал, что я, фашист какой!..

— А кто ж?! Кто?!

— Да сам, может, пропустил... — отозвался кто-то из толпы.

— Сам! Я те покажу — сам!..

Андрейка понял, что дело плохо; он вывернулся и пустился домой.

— А-ах! Это ты, Чернушка! (Фамилия Андрейки — Чернышев, вот его и дразнили Чернушкой.) Ты! — заорал Федька и кинулся за ним.

Откуда он мог выскочить (Андрейка и сам не знал), но выскочил откуда-то Шарик и, обогнав Андрейку, радостно летел домой.

Федька настиг Андрейку, толкнул в спину, и парень зарылся в снег. Федька коршуну вцепился в Андрейкину фуфаячку и начал колотить его по чем попало. Андрейка закричал. Шарик остановился, оглянулся и в одно мгновение накинулся на Федьку. Он разорвал его полушубок и глубоко прокусил правое плечо.

Федька взвыл. Сбежались ребята, отогнали Шарика. Андрейка подхватился и пулей полетел домой. Он вбежал в избу, захлебываясь от слез.

— Что? Что случилось, что?! — вскрикнула мать.

— Я... Я... Федька... Я не виноват... Так выш... вышло-о... Я не утерпе-ел...

— Да успокойся ты, успокойся, расскажи толком...

Андрейка глотнул воды, успокоился малость и рассказал матери все, что случилось под клубным окном...

— Они теперь убьют, убьют Шарика, — снова заплакал Андрейка.

— Да, — вздохнула мать, — эти люди не пощадят...

— Я... Я его завтра отведу к бабушке в Полусмаково.

— Не надо его куда вести. Пойди и привяжи в сенице. На двор не посмеют зайти, — заверила она Андрейку.

Отец Федькин умер перед войной. Была у него слабость — прибирать к рукам чужое все, что было близко спрятано. Побили его крепко в соседней деревне Вельчеве за украденное сало, месяца полтора он поболел и умер. Дед Федьки — корноухий Сидор, человек

жестокое нрава; его и не любили в деревне и побаивались. Говорят, что он на своем веку немало грешных дел натворил. Два Федькины брата тоже кое-что вытворяли. Летом поймали на лугу крысу и подожгли ее живую, она кинулась под копну сена, та и загорелась.

Утром пошла мать Андрейки к Жрубенковым. Дома были все. Федька еще спал. Видать, в школу и не собирался.

— Здравствуйте вам,— сказала Антонина Афанасьевна.

— Здравствуй,— ответил дед Сидор.

— Пришла вот, хочу поговорить с вами по-людски... Вчера такое случилось с нашими хлопцами...

— Случилось...— недовольно пробурчал дед.

— Да не виноват он, Андрей-то мой. Не хотел он, чтоб так вышло...

— Хотел не хотел, а плечо ребенку пес прокусил и полушубок разорвал. Буду заявлять куда положено...

— Да ей-богу же, малый мой совсем не виноват.

— Там разберутся...

— Ну давайте так решим: я заплачу за полушубок, да и ладно, чего уж мы...

— Платежа не напасешься,— перебил дед,— сегодня мне заплатишь, завтра этот пес еще кому-либо портки распустит...

— Мы привяжем его.

— Привяжешь... Недолго и сорваться.

— Ну все ж мы не пришлые какие люди, все вроде б свои, давайте так и решим — заплачу я за полушубок Федькин.

Наступило тягостное молчание. Видимо, в этой семье все подчинялось воле одного человека — деда. Ни мать Федьки, ни братья, ни сестра Полина — никто не произнес ни слова.

— Ладно,— нехотя сказал дед,— что стоит полушубок — заплатишь, а собаку сбывай... Сама знаешь, за собаку судить не станут, а хлопцы все равно его укокошат...

Придя со школы, повел Андрейка (конечно же, со слезами) Шарика к бабушке в Полусмаково. Бабушка поворчала-поворчала и согласилась оставить его у себя. Андрейка обещал через какое-то время взять его обратно.

Уходил Андрейка со двора бабушки, туго завязав под бородой тесемки от ушей шапки, чтобы не слышать голоса Шарика.

Федька, когда шли из школы, по дороге домой пару раз треснул Андрейке по затылку, но не очень больно, видимо, дед строго-настроено приказал ему не трогать Андрейку, иначе он бы уж расправился с ним не так...

Только через две с половиной недели выбрался Андрейка к бабушке. Шарик, взвизгивая, бросился к нему, насколько хватило цепи, а Андрейка со всех ног от калитки к нему метнулся.

Бабушка сказала, что Шарик долго скулил, а потом вроде б смирился. Повеселел.



— Бабушка, я отвяжу его. Мы здесь побегаем с ним. А когда соберусь обратно уходить, привяжу,— сказал Андрейка, передавая бабушке гостинец от матери — пирожки.

— Вот спасибо, спасибо,— говорила бабушка,— это деду оставлю; на днях прибудет. Все лес вырезают гдей-то в Белоруссии.

Отведав бабушкиного угощения, Андрейка отвязал Шарика. Шарик прямо-таки ойкнул от радости, завилал хвостом, пронесся от калитки до сеней, а когда Андрейка открыл дверцы в огород, Шарик бросился на волю и, не оглядываясь, помчался домой, в свою деревню Мошино. Сколько ни звал его Андрейка, сколько ни гнался за ним следом — не помогло. Шарик, далеко отбежав, обернулся раз и еще пуще припустил вперед.

Андрейка, запыхавшийся, вбежал в избу к бабушке, крикнул, что Шарик удрал, и тотчас же следом побежал в Мошино.

Когда он, едва переводя дух, влетел во двор, мать покормила уже Шарика и заперла в сеннице.

Прошла неделя. Шарик находился в сеннице. Но все знали, что он дома.

И вот в метельный субботний полдень мать выпустила Шарика побегать. Андрейка был еще в школе. Шарик летал по дворам, выбегал на огороды, за околицу. Никто его не трогал. Вернулся из школы Андрейка, хотел закрыть Шарика, но мать сказала:

— Замять-то какая, видишь... Пускай побегает. Кто его в такую непогоду заметит особо...

Но, как видно, заметили.

Под вечер Андрейка услышал в дубнячке за околицей душераздирающий вой Шарика. Кинулся он туда. Бежал так, что едва сердце не выпрыгнуло из груди.

Правая передняя лапа Шарика была схвачена мощным капканом, привязанным цепью к дубку. Такие капканы ставят на лисиц. Чьи-то следы уже почти занесены снегом. Рыдая, начал Андрейка разжимать капкан. Сил не хватает. Нога Шарика держалась на коже. Кости перебиты. Как ни старался Андрейка, не смог разжать пасть капкана. Плача, побежал к Грише. Вдвоем и то еле-еле освободили Шарика. Гриша прихватил топор, и капкан тот проклятый Андрейка изуродовал весь, хотя и предлагал Гриша взвести его в Жрубенковом отхожем месте... Конечно же, это их капкан, решили ребята.

Шарик забился в сенницу, скулил и никого к себе не подпускал.

Мать поглядела издали, вздохнула, и слезы навернулись у нее.

— Пропала нога,— тихо сказала.

Назавтра Шарик к еде подошел, но к себе не подпускал даже Андрейку. Скалил зубы. Рычал. Перебитая нога все так же болталась на коже да, может быть, на жилке еще какой.

Зашел дед Михаил. Видимо, мать сказала ему. Посмотрел, покачал головой:

— Плохо дело...

Еще сутки промучился Шарик. Андрейка ушел в школу горестный. Что же делать с лохматиком?

(Трудное было время и, конечно же, ветеринарам не до того, да и понятия не было такого в деревне — собак лечить...)

Вернулся Андрейка из школы, Шарика в сенице не было. Мать не стала говорить Андрейке неправду.

— Пойми, сынок,— убеждала она,— не было другого выхода... Ну как с ним быть? Нога совсем перебита. Никого к себе не подпускает. Страшный стал. Ну, посоветовались мы с дедом Михаилом, он из своего старенького ружья и...

— Где он?! — вскрикнул Андрейка.

— Отвезла я его на санках. Закопала там... ну, в кустах... Глубоко закопала.

Андрейка упал на кровать.

Как его мать успокаивала, какие слова говорила — повторять просто невозможно...

Хотя с тех пор никогда Андрейка не стоял во время кино под клубным окном — мать всегда давала ему деньги на билет,— но долго-долго не отпускало его то большое горе.

Да и сейчас, взрослый человек, авиаконструктор, Андрей Чернышев, когда приезжает на родину, в деревню Мощино, мимо того места, где стояла изба Жрубенковых, не может проходить спокойно. Деревня Мощино вселилась в центральное село колхоза; дед Жрубенков давно умер, остальные все разъехались, но место, где они жили, осталось, осталось н а в с е г д а.

## ПЕРВАЯ ПРИМЕТА

Полуночная остановка скорого поезда на короткой районной станции — три минуты.

Виктор Зимников, кареглазый сержант, торопливо, но рассчитанно прыгнул с последней ступеньки вагона на низкую платформу, привычно козырнул молоденькой проводнице — ну вот, мол, и прощай, хозяйшкa, как видишь, я приехал. Девушка улыбнулась, заодно тряхнула крашеной-перекрашеной челкой: счастливо!

Виктор вобрал в грудь прямо-таки охапку майского родного воздуха и, будто сбросил с плеч полную солдатскую выкладку, выдохнул: все...

Не заходя в вокзальчик, он поспешил к машине, в кузов которой грузили двое мужчин и одна женщина тяжелые тюки, здоровенные чемоданы, картонные ящики. А вдруг да по пути.

— До Стругановки не подбросите? — бодро спросил Виктор.

— В Кладово едем, в Кладово.

— Та-ак, это уж совсем в другую сторону.

Обернулся к вокзальчику. У старого могучего дуба, в ярком свете мощной открытой лампы фонаря стояла девушка с увесистой сумкой.

— Та-ак,— еще раз протянул Виктор,— а она не попутчица?

Достал сигарету; вспыхнул огонек зажигалки, высветил прямой, с едва приметной горбинкой нос, прижмуренные глаза, черные ресницы.

Девушка шагнула навстречу.

— Скажите, пожалуйста, куда та машина идет? — спросила издали.

— В Кла-адово.

Девушка остановилась, опустила сумку.

— А вам куда надо? — спросил Виктор, подходя к ней.

— В Лещенское.

— И вам не по пути.

— Да,— вздохнула девушка,— придется сидеть здесь до первого автобуса.

Виктор помолчал, окидывая взглядом плотную спортивную фигурку девушки. «Все-таки в джинсах все они чертовски хороши», — подумал.

— Говорите, придется сидеть до первого автобуса, до шести-семи часов? — Виктор в упор взглянул в озабоченные глаза девушки.

— А что ж делать?.. До нашего села двенадцать километров...

— Мне еще дальше.

— Куда?

— Есть такая деревенька... Почти лесная деревенька. Стругановка. Знаете?

— Нет.

— А жаль...

— Почему?.. Почему жаль? — улыбнулась девушка.

— Хоро-шая деревенька!..

— Наше село тоже красивое.

— А вы что же, в отпуск?

— Да. А вы?

— Я?.. Я, девушка, совсем. Да! Двадцать три месяца и тринадцать дней от подъема до отбоя...

— И тринадцать дней?..

— Точь-в-точь!

— Пойдемте в вокзал?

Виктор взял сумку девушки и, пока шел до помещения, поглядывал на небо, темное, далекое.

В вокзале было душновато. На старинных желтых скамейках дремали две пожилые женщины; одноногий мужик всхрапывал с присвистом, разлегшись на всю скамью навзничь; в самом дальнем углу, видать, бывалый сельский ухарь, чуб которого дыбился так,

что едва кепка удерживалась, в захлебывающемся шепоте распался перед приятно раздобревшей белолицей женщиной, по внешним признакам не деревенской, может быть, работницей какой-либо конторы или базы...

Виктор и девушка присели на свободную скамью. Через две-три минуты Виктору стало не по себе. Он тоскливо еще раз обвел взглядом всех в зале, затем сбоку взглянул на девушку, и ему показалось, что она ничем уж таким и не примечательна: короткая стрижка, нос остренький... Словом, заныла у него душа. Посмотрел на часы. Первый час. «А если я возьму да и махну сейчас, а? — промелькнуло у него. — Семнадцать километров и — дома. Дома!» Виктор, прищурившись, глядя в одну точку выше окошка кассы, с полминуты решался.

— А знаете что, — сказал он, резко повернувшись к девушке, — я пойду!..

— Куда? — удивленно спросила девушка.

— Домой!

— Пешком? Ночью?

— А что со мной может случиться? На всякий случай есть фонарик.

— Вы же говорили, что вам дальше, чем мне.

— Подумаешь, семнадцать километров... Пойду.

Виктор решительно встал со скамейки, одернул китель, слегка подмигнул девушке:

— Счастливо добраться!

Только он завернул за угол пятиэтажного дома, только скрылись привокзальные огни, Виктора охватила какая-то вихревая радость, так забилося сердце, аж в висках зазвенела, заклокотала горячая кровь. Он снял галстук, расстегнул ворот и начал отмерять такие шаги, что гул их четко и властно гвоздил в темные окна первых этажей.

Когда же за спиной остался районный дремотный городок, Виктор остановился, открыл чемодан, достал плоский блестящий фонарик, включил его; тонкий луч кольнул телефонный столб по левую сторону дороги.

— А теперь, — вслух сказал Виктор, — теперь закурить и в путь! В путь! А для тебя-а, родная!.. Эх-ма!..

Два-три километра шагал он стремительно, молча, перехватывая чемодан из руки в руку. Чем дальше уходил от городских огней, тем прогляднее становилась духмяная даль широкого поля (до первой деревни семь километров).

Виктор стал поглядывать на звезды, прислушиваться к далеким переключкам тракторов, к редким птичьим голосам. Потом просвистел взбредший на ум давнишний мотивчик и вдруг принялся размышлять:

— Та-ак, значит, часиков около трех постучусь в окно. О-ох

и обрадуется же мать! А хорошо, что без телеграммы. «Здравствуй, мама, вот и я!..» А Маринка замуж выскочила. В Брянск укатила. Дочку родила. Ну-ну... Жаль, конечно, что я перед уходом в армию с ней... А, пусть!.. Сержант Зимников, будь выше всего этого! Надо же, через семь месяцев после моего ухода выскочила! Съездила в гости в Брянск... А два года не две недели...

За два года я пожил в трех городах, получил специальность электромеханика, перечитал десятки книг. Удивляюсь, как это я до армии почти ничего, кроме учебников, не читал. Научился играть в шахматы, забывать бильярдные шары. Командовать научился: «Отделение р-равняйся! Смир-рно!» Ха, вот чудак, раскомандовался, чибисы с гнезд повскакивают...

Перед уходом в армию Виктор жил с матерью. Бабушка умерла, когда Виктору исполнилось ровно семнадцать лет. Отца своего он не знает. Никогда в глаза не видел. Родился и вырос без отца.

Мать его два года работала в своем же районном городке на картонной фабрике. Наобещал ей командированный инженер «золотые горы», поверила она ему легко, но оказалось, что до «золотых гор» добираться надо было через топину второго развода того командированного. Испугалась Мария или не испугалась, как знать, но не пошла за ним; оказавшись в трудном положении, ушла и с фабрики. И вот уже несколько лет бессменно работает дояркой.

Виктор рос упрямым, довольно отчаянным сорванцом, но матери помогал — старался, насколько силенок хватало. Летом работал в колхозе, зимой учился. После десятилетки решил до армии никуда не уезжать. Может быть, жалко было оставлять мать одну, может, не хотел расставаться с Мариной — думами своими ни с кем особенно не делился. И когда, бывало, мать заговаривала о том, как он собирается жить, всегда отвечал: «Поживем, увидим...»

Когда Виктор проходил через первую деревню Крыленку, возле палисадника крайней избы услышал шепот. Включил фонарик и на мгновение выхватил из темноты обнявшуюся парочку. У Виктора сладко заныло в груди, и он ускорил шаги...

Стругановка спала. Виктор шел медленно, поглядывая налево и направо, даже приостанавливался, запрокидывал голову и глубоко дышал, наслаждаясь предрассветной свежестью.

Подходя к Марининому двору, Виктор почему-то вспомнил то, о чем никогда не вспоминал. Приревновав Марину к приезжему студенту, он что-то говорил ей в таком волнении, что, сам того не замечая, просовывал-втискивал свою правую руку в кольцо калитки, и когда сложенная лодочкой ладонь кое-как прошла, он то и дело яростно сжимал и разжимал кулак. А когда Марина, хохоча над его нелепой ревностью, горячо стала целовать Виктора, он начал дергать руку, а высвободить ее оказалось не так-то легко. Марина сначала ликовала, вот, мол, тебе наказание за напраслину, а затем оба

испугались, и не на шутку. Кисть припухла, и, дергая, злясь на себя, Виктор даже зубы сжимал от боли. Выручила Марина. Она перемахнула через забор и вернулась с кусочком марли, смоченным растительным маслом. Только таким способом мало-помалу вызволили.

Виктор улыбнулся и подошел к калитке. Двумя пальцами приподнял дремавшее то же самое медное кольцо, подержал его на весу и, будто навсегда отсекая прошлое, резко хлопнул им. Не успел и повернуться, как из подворотни, яростно рыча, пробкой вырвался черный пес и зубами вцепился в левую ногу Виктора выше колена. Виктор этого никак не ожидал. Тогда у Марининых родителей не было собаки. Ударом правого ботинка откинул пса, но тот, дважды перевернувшись, подхватился и снова бросился на Виктора. И в это время выскочил отец Марины Михаил Николаевич.

— Рекс, сюда! Сюда, Рекс! — кричал он с крыльца.

Виктор отскочил от калитки, чувствуя, как теплая кровь пошла к подошве, смачивая тонкий простой носок. Он выхватил из кармана платок и начал туго перехватывать рану.

Пес, твякая, послушно забрался в свою будку, а Михаил Николаевич в трусах вышел на улицу. Увидев полусогнутого человека, подошел.

— Ну и завели же вы сторожа, Михаил Николаевич, — сквозь зубы процедил Виктор.

— Виктор, это ты?! — удивился хозяин.

— Как видите, я.

— Откуда ты?

— Из армии.

— Здорово он тебя?.. От сволочь. Убью завтра.

— Зачем же. Собака есть собака...

— Зайдем в избу, столетником закапаем, перевяжем...

— Нет уж, пойду домой. Сто метров — не велика дорога.

— Вот беда так беда... Я сбегая к фельдшернице. Это может и серьезным делом оказаться...

— Не надо, зачем ночью будить человека, да еще пожилого. Не смертельный случай...

— Сбегаю. Не Антонина Степановна, так ее племянница может подойти перевязать. Она тоже где-то на врача учится. Приехала к ней.

— Да не надо же, Михаил Николаевич.

Виктор взял чемодан и, прихрамывая, пошел домой. Рана горела.

Мать Виктора с радостными слезами кинулась на шею сыну, а когда он показал разорванные брюки и окровавленную ногу, она с испугу так заохала и заплакала, что Виктор не знал, как ее утешить.

— Да ерунда это, мама, ерунда! Пес Митрошенковых накинудся. Сейчас переоденусь, промою, и все заживет, как говорится, до свадьбы все заживет...

Только что успел Виктор снять разорванные брюки да переодеться в спортивную пару, высоко закатав левую штанину,— в дверь постучали. Михаил Николаевич пропустил впереди себя рыжеволосую в джинсах девушку с зеленой сумкой на плече.

— Здравствуйте! — довольно громко сказала она, жмурясь от яркого света.

— Вот, привел, перевяжет, — виновато проговорил Михаил Николаевич.

Девушка быстро подошла к Виктору, сидевшему на стуле, взглянула на ногу, привычным движением раскрыла сумку, вытащила бинт, вату, йод и еще какие-то пузырьки.

— Кипяченая вода есть? — спросила она как-то по-хозяйски у матери.

— Да откуда ж ночью...

— Ну ничего... Выверните чуть-чуть ногу в колене, — обратилась она к Виктору.

Виктор молча, глядя на ее густые, видно, тяжелые, схваченныезади резинкой волосы, повиновался.

— Вот так.

Она развязала носовой платок и непроизвольно ахнула.

— О-ох, какая глубокая и рваная рана. Надо швы накладывать.

— Да ну, что вы, — махнул рукой Виктор, — и так зарастет. Не на лбу ведь...

— Еще чего не хватало. — Девушка мельком взглянула на высокий лоб Виктора.

— Я его утром пристрелю, — хриловато сказал Михаил Николаевич. — Никогда собак не держал, и не будет больше духу собачьего на моем дворе.

— Зря вы, — сказал Виктор, не поднимая головы.

Мать молча вздыхала.

Девушка обработала рану, сделала перевязку, выпрямилась.

— Все-таки я бы вам советовала завтра же раненько поехать в больницу. Ведь это зубы собаки, а какая она...

— Спасибо вам. Большое спасибо, — сказал Виктор, опуская штанину, — но я думаю, что с вашей легкой руки и так зарастет, а насчет собаки... уверен, что никакого бешенства... А теперь я прошу вас посидеть с нами, в общем, отметить мое возвращение... А, мама? — прикоснулся он рукой к плечу матери.

— Да как же, как же так разойтись, Михаил Николаевич? А как вас?... улыбнулась она девушке.

— Оксаной меня зовут, — сказала девушка, укладывая сумку.

— Светает уже. За наряд садиться пора, — сказал Михаил Николаевич, как-то непривычно виновато переступая с ноги на ногу.

— А, вам не в новинку, — весело сказал Виктор, — лет двенадцать-тринадцать уже бригадирствуете?

— Малость ошибся, Виктор,— взбодрился Михаил Николаевич,— с марта пошел пятнадцатый.

— Тем более. У вас уже все идет по инерции...

— Так не получается...

— Мне тоже нужно идти. Сегодня на поезд,— перекинув через плечо ремень сумки, сказала Оксана.

— Товарищи, ну так нельзя-а,— развел руками Виктор, и по его голосу трудно было определить, или он сказал полушутливо, или очень серьезно.

— Я сейчас, сейчас, за одну минуточку стол накрою,— засуетилась мать,— хоть он мне точное число и не указывал, когда отслужит, а я ж готовилась, каждый денечек ждала.

Михаил Николаевич взглянул на Оксану, пожал плечами,— что, мол, тут поделаешь, придется посидеть. Оксана взглянула на Виктора и решительно сняла с плеча сумку.

— Вот это по-нашему,— просиял Виктор, про себя же подумал: молодец, рыжая, долго не чикается, надо, значит надо. Люблю таких людей.

Действительно, не прошло и двух-трех минут, как на столе появилось все, что было припасено для встречи сына.

Михаил Николаевич внимательно, изучающе посмотрел на Виктора, потом опустил глаза, даже слегка поник седеющей головой и сказал:

— С возвращением тебя, Виктор, с возвращением. Тебя, Мария, тоже поздравляю... радость...

— Спасибо, Михаил Николаевич,— бодро сказал Виктор.

— Кажется, за всю свою жизнь не помню такого случая, чтоб в такую рань за стол садился,— сказал бригадир.— Даже когда свадьба.

Но тут, спохватившись, осекся на полуслове, молча взглянул на Виктора, вздохнул.

— Э-эх, Маринка...

Виктор увлеченно начал расспрашивать Оксану, куда она едет, где живет, где учится, и Михаил Николаевич приумолк.

Оксана рассказывала, что работает медсестрой и учится на вечернем в медицинском институте в Киеве, а тете привозила очень нужные ей дефицитные лекарства.

Михаил Николаевич грустно посидел несколько минут, от дальнейшего угощения отказался, будто бы нечаянно взглянул на окно и встал.

— Пора. Вот-вот уже коров будут выгонять,— сказал он бодрее и протянул руку Виктору,— ну, отдыхай, извини, что так все получилось... Пса я сегодня же истреблю...

— Не надо этого делать, Михаил Николаевич,— сказал Виктор, крепко пожимая руку.

— Нет-нет, и не говори. Чтобы я был виноват... Нет...



Оксана тоже поднялась.

— Спасибо вам,— сказала она матери Виктора,— а вы, Виктор, все-таки съездите в больницу.

— Я вас провожу.— вызвался Виктор.

— Ну что вы, не надо, тут же совсем рядом. И светло...

— Да мало ли что... Мама, туфли мои сохранились?

— Как же, вот они,— метнулась мать в горницу.

Когда Виктор, прихрамывая, возвращался домой, издали увидел Михаила Николаевича, быстро шагавшего с ружьем и собакой на поводке в сторону сосняка. Будто какое-то предчувствие охватило душу. Вмиг, как в пропасть, сорвалась вся радость Виктора.

Забыв про рану, он со всех ног кинулся вслед за Михаилом Николаевичем. Тот шагал не оглядываясь. Целеустремленно шагал.

Виктор, запыхавшись, приостановился, не добегая до Михаила Николаевича метров пятнадцать.

— Михаил Николаевич!..

Бригадир обернулся, удивленно остановился. Пес зарычал.

— Михаил Николаевич,— тревожно начал говорить Виктор, медленно подходя,— я вас очень прошу, не убивайте пса. Понимаете, не за что его убивать. Я же говорил, что собака есть собака...

— Нет-нет, Виктор, я решил твердо. Никогда раньше псов не держал и... Чтоб я был виноват перед людьми... Нет.

— Михаил Николаевич,— Виктор подошел почти вплотную,— знаете, хотя мне покойная бабушка еще с детства внушала всякие приметы, я никогда в них не верил. А вот сегодня... сегодня, может быть, это смешно, но мне как-то нехорошо стало на душе, когда увидел вас с ружьем. Ну верьте. Мне кажется, что вы убьете не пса, а что-то... в общем, прошу вас... Поглядите, какое утро!..

Чувствую, с этого часа начинается что-то новое в моей жизни... Как бы вам объяснить... Вот скоро сенокос — любимая моя пора. Может быть, в такое же утро подведу сенокосилку во-он к тому лугу — р о с и с т о м у, душа запоет!.. И вдруг вспомню про этот случай...

Михаил Николаевич постоял молча, подумал, взял в руку поводок покороче. Пес настороженно смотрел то на Виктора, то на хозяина.

— Пойдемте назад,— не выдержал Виктор тягостной минуты,— все будет хорошо. Пусть живет этот лохматый. Жить все хотят...

— Ну, раз уж так,— помягчел голос у Михаила Николаевича,— раз так, что ж...

...Они шли не спеша, приостанавливались. Михаил Николаевич широким жестом правой руки восторженно будто разворачивал поля и дуга перед взором Виктора, Виктор тоже о чем-то горячо говорил, взмахивая руками, и хозяйки выпроваживавшие коров, глядели на них издалека и гадали: кто ж это такие? С собакой вроде б похож на бригадира, высокий и сутуловатый, и с ружьем, кажись. А кто ж с ним? Да и откуда они идут в такую рань? Останавливаются, руками размахивают. Кое у кого даже глаза начали слезиться от напряжения — за спинами подходящих вовсю сияло солнце...

## В ПОРУ ЗРЕЛОСТИ ТАБАКА

Степан Слегин с женой Верой на поскрипывающей телеге медленно подъезжали к покосившемуся забору, за которым когда-то гоготали гуси, взвизгивали поросята, кричал петух, и сквозь этот гогот и визг прорывался властный, грубоватый окрик хозяина или же, в наступившей на миг тишине, был слышен мягкий, чуть шепелявящий голос хозяйки, то ласкающий подсвинка, то ругающий петуха или рыжего пса Бобика.

Теперь за этим забором остались изба-развалюха, осунувшийся сарайчик, все тот же рыжий Бобик да хозяин — семидесятисемилетний дед Гордей. Два года назад «осиротила» его жена Дарья. Как ни уговаривали, что только ни сулили деду дочка Вера и зять Степан, не соглашался идти к ним жить в большую пятистенку в деревню Лозовку.

Мало того, что недалеко Вере бегать к отцу — в одну сторону четыре километра, так ведь умереть может дед, никто и не хватится — двор на отшибе, а в хуторе осталось пять хозяйств, остальные перебрались в центральную усадьбу.

И вот наконец дед Гордей дал согласие переехать к зятю.

— Что-то я сумлеваюсь, Степан, — задумчиво проговорила Вера, — возьмет да и откажется ехать батя, чудной он какой-то стал...

— Пускай попробует отказаться, — с уверенной настойчивостью сказал Степан, — свяжу старого и привезу. Да и чего это он будет отказываться, сам мне сказал: приезжайте, мол, поеду...

Солнце тяжело оседало на верхушки сосняка. Жара спадала. Дышать становилось легче. Степан сидел вяло, сутулившись. Черный огромный мерин шагал важно, по-богатырски.

Дед Гордей, опершись на посошок, дремал на приступке. У ног его лежал Бобик. Он тоже был стар и даже глуховат.

Скрипнула калитка. Дед поднял голову.

— Здорово, батя! — широко улыбаясь, рявкнул Степан.

— Здорово.

— Вот, приехали. Драгоценности все упаковал?..

— А чего ее упаковывать, вот она под ногами лежит, моя драгоценность, — дед Гордей посошком поцарапал за ухом Бобика. Тот поглядел на деда, потом на приезжих, ласково вильнул хвостом.

Вера кинулась в избу: может, из посуды что надо будет взять, остальное уже помаленьку перенесла к себе.

— Ну, пойдем в избу, — сказал дед Гордей и, опершись рукой о стоек, поднялся.

Степан неспешным взглядом окинул двор, вздохнул и пошел вслед за дедом.

Вера расстелила на полу клеенку и складывала кое-что из постели. Дед Гордей молча присел к столу.

— Вера,— сказал Степан,— узелок-то твой где? В телеге? Давай-ка его сюда.

— Сходи сам, видишь, я занята.

Степан вышел и тут же вернулся с узелком.

— Давай-ка, батя, так сказать, напоследок присядем.

Дед Гордей, все так же насупясь, молчал.

— Я вот что думаю,— глядя себе под ноги, проговорил он.

Вера выпрямилась над клеенкой, с тревогой взглянула на отца.

— Что ты снова задумал?..— сказала она и даже слегка подалась вперед.

— Думаю так: к вам я поеду, раз уж так получается, но рушить двор пока не позволяю. Нажива с него малая, и никому он тут не мешает.

— Э-э, батя, об чем печешься,— весело сказал Степан,— да кому эта труха нужна, мне, что ли?.. Ты ж сам знаешь, какой у меня двор — королевский!..

— Отец,— вздохнула Вера,— ты никак возвращаться думаешь?

— А что тут думать да гадать, не в Америку собираюсь.

— Батя, об чем толкуем,— снова начал Степан,— как скажешь, так и будет, пускай стои-ит, хоть воробьям есть где жировать.

Степан давно собирался поехать, взять деда под белые руки да и привезти в свою избу, потому как Вера совсем разрывалась: на неделе по два-три раза бегала к нему. А что ему, старому, пускай сидит в тенечке на лавочке или в саду. И Женька будет возле него. Хоть парню уже и десять, но с дедом спокойнее оставлять дома, чем одного.

— И еще об одном хочу потолковать,— продолжал дед Гордей, все так же глядя себе под ноги.— Пса заберу с собой, что ж он тут один, кормить кто его будет?..

— А как же, батя, заберем: скоро яблоки созреют, привяжу его в саду.

— С него уж такой сторож, как с меня кавалерист, да все ж живой!..

— Ну, что ж,— встал Степан,— значит, в дорогу.

Он подхватил два узла, приготовленные Верой, и понес их на телегу.

Дед Гордей растерянно стоял посреди избы, оглядывал стены, печь: хотел было что-то сделать — шагнул обратно к столу, но остановился, махнул рукой и подыбал к порогу.

Степан взял с приступка замок (видно, дед Гордей нарочно его там положил, чтоб не пришлось искать), крепко хлопнул дверью, накиннул замок, два раза повернул ключ, потом вытащил его и подал деду:

— На, батя, ключ, можешь быть спокоен: никто без тебя в твои хоромы не войдет.

Дед Гордей взял ключ, повертел и сунул в карман.

Недели полторы дед жил спокойно. Видно было, что ему нравится днем топтать с внуком по саду, сидеть в тени, поглаживать за ухом Бобика, тот ни на шаг не отставал от хозяина, а вечером, когда собиралась вся семья, деду Гордею было даже весело. Он смотрел, как старший внук, холостяк, и внучка, почти невеста, наряжаются, готовятся на танцы или в кино; слушал их шутливую перебранку между собой и думал: «Жизнь у них — малина... Ни войны, ни революции, ни коллективизации; со всем мы управились, все сдюжили...»

Как-то дед Гордей под вечер вышел за ворота, сел на лавочку у палисадника. Бобик тут же улегся у ног. Сначала дед долго рассматривал резные наличники в новой избе через дорогу, потом посощком чертил какие-то загогулины на желтом песке, видно, размышляя о чем-то; а потом руками оперся на посощок, прикрыл глаза.

— Что, Михеич, кемаришь, вижу...

Дед Гордей открыл глаза.

— Тимофей, ты, что ль?

— А как же, я.

— Откуль будешь?

— В магазин приходил. Соли вон закупил да папирос.

— А что ж ты сам, сын-то небось каждый вечер шастает сюда к девкам?..

— Дак я, Михеич, с удовольствием прогулялся, хоть мослы старые размял маленько.

— Э-э, сказал, старые, ты ж на десять годов моложе меня.

— Ну, Михеич, за тобой-то мне и при молодых годах тягаться было не с руки. Ты-то вон какой крепак был! Да... Значит, покинул нас, соседей? Совсем у зятя обосновался?

— Живу пока...

— А что ж, халупа будет стоять?..

— Пуцай стоит. Никому не мешает.

— Это ве-рно... А я вот думаю, не поехал бы никуда, хоть и один бы остался. Сидел бы под липой да ясные б дни вспоминал.

— Ничего у меня там не разволокли? — спросил дед Гордей и как-то тревожно посмотрел на бывшего соседа.

— А кому твое гнилье нужно?..

— Да все может быть... Без присмотра...

Ушел Тимофей, и крепко задумался дед Гордей.

Так задумался, что даже ужинать не стал. Выпил стакан молока, да и только.

— Отец, ты не заболел? — беспокоилась Вера. — Совсем не ужинал...

— Нет, дочка, ничего я...

Прошло еще несколько дней, и дед Гордей начал намекать зятю на то, что вот, мол, проведать бы надо, как там двор?

— А чего его проведывать, батя, стоит как стоял,— сказал спокойно Степан.— Я ведь мужиков ваших часто вижу.

— Да и на могилку к старухе надо б сходить. Ты мне лошаденку б какую запряг, мы вот с Женькой и поехали б...

— Ну ладно, батя,— согласился Степан,— завтра запрягу. С утра с Женей поедете помаленьку, а к обеду вернетесь.

— Вот и правильно,— сказал дед Гордей, заметно повеселев.

Степан запряг старую кобылу Розу, которую и держали для подобных путешествий, приехал ко двору, бросил на телегу охапку сена, поверх Вера постлала одеяльце — пжалте, Гордей Михеич...

Женя с превеликой радостью и гордостью уселся на место кучера, дед — сзади, спина к спине, а Бобик от избытка чувств пробовал прыгать, а когда тронулись в путь, затрусил впереди.

Жене, как ни старался дергать вожжами, шлепать ими по бокам Розы, развить желаемую скорость не удавалось; кобыла шла полуленивым, полуусталым шагом. Телега по-старушечьи поскрипывала.

Дед Гордей поначалу охотно и бодро отвечал на Женькины вопросы, потом прикрыл глаза и задремал.

Первым делом, когда приехали, дед Гордей потопал в огород. Его особо не волновала судьба посаженной картошки, главное — табак. Курил он совсем мало, но, кроме самосада, ничего не признавал. Легко дохнул ветерок, и деду показалось, будто зеленые, с ладонь листья потянулись к нему.

— Деда, а что ты будешь делать, срезать табак? — спросил Женя, принюхиваясь к листьям.

— Рано еще, пушай подрастет.

— А когда вырастет, я приду, срежу и принесу тебе, дома развесим и пусть сохнет.

Дед Гордей на это ничего не сказал заботливому внуку. Вернулись во двор. Дед заглянул в сарайчик, постучал посошком по трухлявому порожку, постоял, подумал, потом достал из кармана ключ и потянулся было к замку, да Женя опередил:

— Давай я открою, деда.

Вошли в избу. Дед Гордей сел на табуретку, призадумался.

— Деда,— прервал его думу Женя,— ты пока посиди, отдохни, а я попробую воробьят достать за наличниками, они там так пищат...

— Доставай, да полегче, не саданись.

Женя пулей вылетел из избы, а дед Гордей долго еще сидел на табуретке, потом поднялся, вышел на солнышко, сел на приступок. Бобик лежал на своем любимом месте. Увидев хозяина, он слабо вильнул хвостом, внимательно посмотрел на деда, не вынес ли чего ему, и убедившись, что в руках того ничего нет, положил голову на передние лапы и прикрыл глаза.

Женя достал воробьянка (он был еще совсем малыш — голопузый),

подержал его на ладони и возвратил в гнездо. Потом залез на вербу, пошарил рукой в дупле, но там ничего не оказалось. Заняться ему было больше нечем. Он подошел к деду.

— Ну что, деда, может, домой поедем?

— Я вот думаю, — вздохнул дед, — поезжай-ка ты, внучок, один, не боишься?

— А ты, деда?

— А я покуль поживу тута. Табак подрастет, срежу, высушу. К бабушке на могилку схожу.

— Пое-едем, деда, — взмолился Женя, — папка будет на меня ругаться, зачем, скажет, оставил деда. А есть ты что будешь?

— Ай, много мне потребно. Мишка на мотоцикле своей враз мне чего-либо привезет.

— Нет, деда, поедем, поедем, — Женя даже за рукав стал потихоньку дергать его.

— А ты что ж, али один боишься ехать по прямой дороге?

— Я не боюсь, деда, не боюсь, да папка будет ругаться...

— А чего ему на тебя ругаться? Скажи, что дед не захотел ехать, остался на своем дворе. Вот и вся твоя вина. Поезжай помаленьку, поезжай. К обеду приедешь. Еще и ране.

Женя постоял-постоял, чуть было слезу не пустил, а потом подумал: «Зато я один буду ехать быстро, только хворостину хорошую возьму...»

— Ну ладно, деда, я так папке и скажу, а Мишка тебе еды привезет, на мотоцикле он за три минуты докатит.

— Вот и хорошо, хорошо...

На обратном пути Женя расшевелил лошадь, да она и сама охотней трусила домой.

На обед никто еще не пришел. Женя привязал Розу к тополю, сгрел сено с телеги и положил ей: жуй.

Раньше всех пришла мать. Женя сидел на бревне и мастерил рогатку.

— Уже вернулись? Как раз к обеду, — обрадованно сказала она.

— Я приехал один, мам, — ответил Женя, насупившись.

— Оди-ин? А дед где ж?

— Он остался там жить. Табак, говорит, надо скоро срезать.

— А что ж ты его оставил там, а?

— А как я его, мам? Он не поехал, да и все...

— О, горе мне с ним!.. Там же есть нечего и спать не на чем.

— Мишка пускай отвезет.

И тут калитку открыл Степан.

— Ты чуешь, что вытворяет? — всплеснула руками Вера, обращаясь к мужу. — Не вернулся дед.

— Как не вернулся?

— Не поехал обратно. Один вон Женька явился.

— Ты чего ж деда оставил?

Женька захныкал.

— Не поехал он, пап, сказал, будет табак скоро срезать.

— Ну, фокусник... Счас я его быстро доставлю...

— Правда, Степан, съезди, там же есть нечего, куковать будет...

Степан зашел в избу, без передыху опрокинул кружку холодного хлебного квасу, матюгнулся про себя, чтоб Вера не слышала, смахнул полотенцем пот и повернул обратно.

Вера укладывала сено на телегу.

— Степан,— сказала она тихо, виновато,— ты уж там не шуми на него; старый, вот и мудрует...

— А чего мне шуметь? В охапку, на телегу да домой.

— Я прошу тебя, Степан, полегче с ним, лучше поговори, а то он еще не такое учудит.

— Ла-адно,— мягко сказал Степан и хлестко шлепнул вожжой по крутому боку лошади.

Подъезжая к забору, Степан услышал неторопливое постукивание молотка. «Ну, дед, мастерит еще что-то».

Открыл калитку. Дед приколачивал оторвавшуюся дощечку на дверце в огород. Степан вразвалку подошел к нему. Дед Гордей обернулся и молча смотрел на него.

— Что мастеришь, батя? — сказал Степан, будто ничего не случилось.

— Да вот, дверца совсем расхлябалась.

— Давай я приколочу.

Степан взял молоток, выправил несколько гвоздей и приколотил еще две дощечки.

— Вот теперь сто лет будет жить,— подергал он дверцу,— только осела малость, но не беда...

Дед Гордей прикрыл дверцу, потом взял у Степана молоток и пошел в избу. Степан молча шел за ним. В избе, как и перед отъездом, присели.

— Так что ж ты, батя, извозчика своего одного отправил? — начал Степан, закуривая.

— Табак скоро срезать надо,— сказал дед будто бы и равнодушно, но было заметно, что спокойствие это напускное, на самом же деле тревожно поглядывал он на Степана из-под лохматых бровей.— К старухе буду чаще наведываться... Поживу покуль тут.

— Батя, табак-то, знаешь, чепуха, никуда он не денется, я и сам приеду и срежу; ты мне скажи прямо: что тебя так тянет сюда? Ведь не клад же у тебя тут зарыт?..

Дед Гордей помолчал, потом нехотя кашлянул.

— Хм, клад... — Вдохнул.— Поживи с мое, Степан, на одном месте с младенчества, тогда не будешь спрашивать, что тянет. Вот ты закрой глаза, закрой. Ну, слышишь что-либо?

— Слышу, батя. Муха стонет где-то в углу, видать, к пауку забрела.

— Вот он и весь сказ тут... А я закрою глаза, дак знаешь, что слышу? Да всего и не рассказать... И слышу, и вижу...

— Что-то не пойму я тебя, батя.

— А что тут мудреного. Жизнь, Степан, вся жизнь заново проходит. И слышу тут, и вижу.

— Э-эх, батя, нагородил ты мне всего, давай-ка поехали домой, а то на работу опоздаю, я еще и не обедал.

— Нет, нет, Степан, ты уж меня не замай.

— Батя,— сказал Степан с таким укором, что дед совсем потупился,— ты хоть бы дочку-то пожалел. Вера ж разрывается на две половины: и дома, и сюда бегаёт. Что ж она у тебя — семижильная? Крошку хлеба в рот положить некогда. Вот пришла на обед, глянула, что нет тебя, и в слезы... Надо же немного думать, батя... А что люди скажут, а? Да, может, скажут, что мы с тобой плохо обходимся, или еще чего. Каково ей будет, Вере? Я так скажу, батя, хватит тебе чудить, поехали...

Дед Гордей с минуту молчал, потом встал и, ни слова не говоря, вышел.

По дороге разговорились об урожае, о сухой погоде; настроение у обоих заметно приподнималось, и грустная беседа с каждым оставшимся за телегой метром отодвигалась все дальше и дальше.

Бобик, вывалив тонкий и длинный язык, бежал, ни на шаг не отставая от заднего колеса.

И снова дед Гордей около трех недель жил спокойно. Потом начал поговаривать о табаке, спрашивать у Степана, не видел ли он кого из его соседей. По всему было видно, что затужил он, как и прежде: есть стал плохо, часами сидел молча, опершись на посошок — то ли дремал, то ли думал о чем-то.

— Видать, снова что-то замышляет наш старикан,— сказал Степан Вере. Тут же у него мелькнула мысль: — А знаешь, что надо...— Но осекся, прикусил язык.

Вечером Степан зашел к своему другу Андрею. Тот мылся теплой водой, фыркал. От него несло соляжкой, солидолом, потом,— словом, человек только что вылез из кабины трактора. Степан подошел сзади, крепко хлопнул друга по голой спине.

— Здорово, бугаище!

— Здорово! Чего дерешься?

— Тебя обидишь. Трактор, и тот боится.

— Не боится, а подчиняется. Ему положено.

— Слушай, Андрей, помоги мне одно дело сделать.

— Выкладывай.

Они уселись на осиновое, вкусно пахнущее лежалыми яблоками бревно.



— Понимаешь, какое дело, замучил нас тесть. Сам видал, дед уже того, чудаковатый, рвется в свою халупу, прямо удержу нет. А что ему там делать? Жена-то не ласточка — туда-сюда порхать.

— Ну, а чем я могу помочь?

— Так вот я думаю: давай дедову халупу ковырнем трактором, а ему скажу, что завалилась сама изба. Халупы не будет, и волноваться ему будет не о чем — успокоится старый, и все будет в порядке.

— А хулиганства не припишут нам?

— А кому какое дело? Дед живет у меня, значит, я распоряжаюсь его добром, дочка-то у него одна, родни больше никого. Да там одно гнилье. Вот сегодня как раз ветерок. Тем более халупа на отшибе стоит, никто вечером и не услышит.

— Что ж, хозяин-барин, давай,— пожал плечами Андрей,— трос только надо прихватить.

...Возвратясь домой, Степан в постели на ушко рассказал Вере, что они с Андреем сотворили.

— Ой! А если он догадается? — шептала Вера.

— Слышишь, ветер какой поднялся, поверит. Она-то совсем скособочена была.

— А как вы ее?

— Да очень просто: подъехали на тракторе без света, закрепили трос, дернули, она и развалилась. Только горло заскребло от пыли.

— А печка? — взволнованным шепотом расспрашивала Вера.

— А что печка? Там все обрушилось — лежит куча хлама.

Утром Степан пошел на наряд и вернулся не скоро. Дед Гордей кряхтел, покашливал, поглядывал в окно.

— Видать, к непогоде клонил,— пробурчал он сам себе,— кости ноют.

Степан вошел в избу шумно.

— Завтрак готов? В город еду, с Мишей Прокоповым комбикорм грузить.

Дед Гордей был на огороде. Но вот он, постукивая посошком, открыл дверь, переступил порог.

— Батя,— сказал Степан, не глядя на него,— мужиков видал в магазине, новость сообщили — избу твою ночью ветер развалил.

Дед вздрогнул, будто током ударило.

— Не может быть... Ветер слабый...

— Теперь слабый, а ночью слышал, какой был? Надо выбрать время да разобрать тот хлам.

Дед Гордей присел на табуретку и так сгорбился, что, глянув на него, Степан осторожно положил ложку и вылез из-за стола.

— Ну что уж ты так, отец, горюешь? — начала успокаивать Вера,— жить, что ли, негде? Может, это и к лучшему, забот у тебя поменьше будет. Воскресенье придет, Степан с Мишкой съезжают, срежут твой табак и разберут там.

Дед Гордей молчал.

Степан собрался и ушел. Через час разошлись и все остальные.

Дед выпил чайку и прилег. Когда в избе все стихло, он поднялся и вышел во двор. Женя, мурлыча себе под нос какой-то мотивчик, сидел в саду, под грушей, что-то мастерил.

Дед вышел за ворота. Бобик, виляя хвостом, глядел ему в лицо. Ветер, будто бы спросонья, начал оживать, набирать силу. Дед поглядел на небо, подумал с минуту и, будто бы спохватившись, подыбал от ворот.

Половину пути он прошел, не заметив. А потом начала одолевать одышка. Он останавливался, подолгу стоял, опершись на посошок. Ветер навстречу ему тянул набрякшую тучу.

Метров около ста не дойдя до разваленной избы, дед почувствовал, как по всему телу прошел неприятный озноб. Он хотел было постоять, отдышаться, но тут же перед глазами замельтешили какие-то разноцветные точки, будто по весне комары мак толкут, потом закружилось все в радужном вихре и стало темно — ноги подкосились...

Начинал накрапывать дождь. Бобик ежился, лизал деда в нос и хрипло скулил.

Первым на обед пришел Миша. Женя встретил его со слезами — деда дома нет. Немного думая, Миша сел на мотоцикл и помчался на хутор. Дождь шел мелкий, спорый.

Миша нашел деда, лежащего без сознания, промокшего. Он подхватил его на руки и понес в крайнюю из оставшихся избы. Там его уложили в постель, дали понюхать нашатырного спирта. Дед еле заметно повернул голову, потом открыл глаза, бессмысленно посмотрел вокруг и снова закрыл.

Под вечер его привезли к дочери. Вера тихо плакала, предлагала отцу и кипяченое молоко, и чай с медом, и теплого блинчика с маслом, но ничего не хотелось деду.

Степан вернулся затемно. Узнав, что случилось, он сел у дедовой постели, помолчал. Потом спохватился:

— Я привез этой... воды привез желтой, «фанты». Счас открою, попьешь, батя... — Поддерживая за плечи, он приподнял деда: — Хоть глоточек...

Дед Гордей глотнул, слабо кивнул головой: «Спасибо».

А через трое суток, поздним вечером, деда Гордея не стало.

## ДРУГОЙ КОЛЕНКОР

Когда новенький газик вынырнул на взгорок, занавесив за собой пылью узкую дорогу, и позади осталось насыщенное тяжелой, хотя и приятной духотой ржаное поле, председатель Николай Андреевич

тронул за плечо шофера Стасика: тормозни-ка. Стасик свернул на обочину и притормозил как раз напротив сосны — могучей, одинокой, неизвестно кем посаженной; кажется, стоит она испокон веков, и сельчане уважительно величают ее — сосна-баярыня.

Николай Андреевич молча вышел из машины, постоял в двух шагах от распахнутой двери, затем медленно, непривычно слегка ссутулясь, пошел к сосне. Остановился в тени, левым плечом прислонился к стволу. Кора на сосне — от корня и вверх метра на два — гладкая, точно отполированная; знать, за долгие годы немало под ее кроной останавливалось и проезжих и прохожих...

Николай Андреевич смотрел в сторону деревни Локотовки и, когда стало легче дышать (хоть изредка, но так прихватывает сердце, что в глазах темнеет), загляделся на сияющие шиферные крыши локотовской фермы. Похожи они издали на свежие снежные гребни. Загляделся да и призадумался. В Локотвке он родился, вырос, проводил в армию; вернулся и ровно полтора года жил в ней. Судьба ли это или так случилось-получилось, но ушел Николай из своей родной Локотовки и вот уже двадцать четыре года живет в селе Гудовском. Кто знает, какова была причина — не вышла за него замуж локотовская красавица Анюта Мельникова, хотя и парень он, как говорится, куда лучше: точно былинный молодец, а вот поди разберись в девичьих капризах...

Женился Николай на гудовской фельдшернице Таисии. Работал шофером, а со временем мало-помалу окончил техникум; три года был агрономом, потом заместителем председателя, а когда Василий Николаевич Могутин (казалось, вечный председатель) начал серьезно прихварывать, передал колхоз Николаю Андреевичу; с того отчетно-выборного собрания пошел уже одиннадцатый год. Кроме Гудовского — центральной усадьбы,— входят в колхоз «Рассвет» еще три деревни: Локотвка, Нивино, Подлесовка.

«Что ж это с Локотовкой...— виновато вздохнул Николай Андреевич,— три избы живые, две, можно сказать, мертвые... Только вон крыши свинарника сияют, вроде б как гордость... Молодежь, кто из армии сюда возвращается, женятся и — в Гудовское, в Гудовское. Да и не только молодежь... Еще бы — клуб в Гудовском, торговый центр в Гудовском, квартиры строим тоже в Гудовском. А Локотвка стоит напротив этого Гудовского, будто мать-старушка перед эдакой ухоженной, на вид городской, невесткой, что ли... А когда-то это Гудовское Локотвке только и завидовало. Вечно гудовские проголодь жили. За зиму ухитрялись все спустить, на весну не с чем выходить было... А локотовцы трудяги».

Стасик, видя, что Николай Андреевич порядочно времени стоит, как околдованный, подошел к сосне.

— Может, вам совсем плохо? — спросил он, не доходя нескольких шагов.— Николай Андреевич?.. Гляжу, вы все смотрите и смотрите как-то... в одну точку...

Николай Андреевич обернулся:

— Да нет, Стасик,— сказал он спокойно,— ничего... Сейчас поедем.

Назавтра, в полдень, Николай Андреевич отпустил Стасика обедать, а сам сел за руль и поехал в Локотовку. Старики его, отец и мать, живут в той же избе, в которой он и родился. Вроде бы и недавно был — с неделю назад, — а объезжал рытвины посреди дороги, поглядывал на некоторые пустые окна и не знал куда глаза девать... А что ж тут в распутицу творится...

Мать копалась в огороде, отец набивал новый обруч на разошедший бочонок.

Николай Андреевич поздоровался с отцом за руку, присел на чурбачок. Разговор у них всегда был нетороплив, но недолог. Председателю некогда рассиживаться, особенно в горячую пору; заскочит на полчаса, и на том спасибо.

— Бочонок сох-пересох, а все равно огуречным рассолом дышит,— сказал Николай Андреевич, поглядывая на седые отцовские усы, деловито-строгие...

— Хм, рассолом... Дегтем от него, что ли, должно нести? — Андрей Никитич даже головой качнул.

— А я, батя, любил запах дегтя, что-то в нем было такое... В общем... странно, но мне кажется, от доброты что-то...

— Да уж приятней всех этих солидолов да автолов. Забыли уже тот запах.

— Это не печаль... Техника в сотни раз оправдывает...

Андрей Никитич промолчал, отставил бочонок в рябую тень от нависших веток старой березы; рядом аккуратно сложил инструменты: топор, молоток, стамеску, самодельный нож, такой, как у сапожников. Отряхнул руки. Позвал Николая в избу:

— Пойдем-ка отобедаем. Борщ у нас сегодня холодный — из щавеля. Мать нащипала гдей-то вчера. Сейчас крикну ей.

— Посиди минутку, батя,— попросил Николай Андреевич,— успеем пообедать.

Андрей Никитич внимательно посмотрел на сына. Случилось что?

— Какие-нибудь... новости?

— Нет. Все нормально. Думаю вот о чем, батя: Локотовка-то наша совсем, как говорится, быльем может зарастить...

— Локотовка — наша. Ваше — Гудовское. Она уже, считай, заросла. Молодежи нету. Кто в города, кто в Гудовское. А тут старики да вороны. Вон сидит, купчиха сонная. От жары разомлела. Тряхни березу, шмякнется на землю, как ошметок...

Николай Андреевич взглянул на березу, рассмеялся. Скажет же старина.

— А если я, батя, протяну прямую дорогу от гудовского хмеля через понизовский лозняк,— запущу такую стрелу на середину

Локотовки, а тут раскину направо и налево и покрою асфальтом, а?..

— Сказать легко...

— Я пустыми словами не привык бросаться; денег в колхозе хватает, ты знаешь. Надо оживить деревню. Помнишь ведь, какая была?!

— Спрашиваешь... Да в нашу Локотовку когда-то ежели девку замуж брали из другой деревни — почет... Только хилые боялись идти; за локотовцами бывало угнаться не так-то легко... А что теперь... — Андрей Никитич поднялся с чурбачка (крепкий еще дед, высокий, поджарый), прошелся по двору. — Спыхватился... — буркнул. — Гудовское сделали центральной усадьбой, и все там, там...

— Казалось, батя, так и надо было. — Николай Андреевич продолжал сидеть на чурбачке — смуглолицый, в голубой рубаше с засученными рукавами, прямые черные волосы расчесаны на косой пробор, будто только что из парикмахерской вышел, и похож он не на председателя колхоза, а, скажем, на актера, что ли, вольготно отдыхающего в родных краях.

— Казалось... — вдруг помягчел голос у старика. — Оно, конечно, дело понятное — повесела б деревня, глядишь, и молодежь начала бы оставаться. А то что ж — топина непролазная. Осенью, весной, да и летом при дожде — грязь по колено. Раньше машины и трактора меньше ходили, и колдобин на деревне не было. А если б это... да... Другой колленкор... Только песня долгая...

— Если десять раз не начинать сначала, то любая песня должна быть спета в срок.

— Так-то оно так. И что ж, ты хочешь одну Локотовку заасфальтировать?

— Остальные деревни вдоль дороги; пусть там не асфальт, но — гравий. А Локотовка в стороне, да и самая, можно сказать, заброшенная.

— Да уж заброшенная... — вздохнул Андрей Никитич.

Николай Андреевич ехал в Гудовское и думал о разговоре с отцом. «Видно, давненько батя на меня обиду таил. Что он обо мне думал? Почему сам не заводил подобного разговора? Не размышлял ли он о моей какой-то мести за то, что ушел из Локотовки? А может, и было что-то такое?.. Из Гудовского сделал не село, а почти райцентр. Чего только не настроено... Из кожи вылазил — старался. А в Локотовке... свиарник отстроил... Да-а, жизнь... Действительно, спыхватился... Хоро-ош, мужик...

С чего ж начать дело? Прежде всего поставить вопрос на правлении колхоза. Поддержат? Может быть, придется и настаивать... Теперь уж назад... Теперь... До вчерашнего дня будто с завязанными глазами на деревне появлялся... А разговор в райкоме?.. Почему они должны быть против... Колхоз идет в ногу с передовыми; деньги есть. Материал, техника — это уж моя забота. Да, именно моя».

...В конце заседания правления колхоза Николай Андреевич обвел взглядом всех членов правления (из Локотовки двое: Тимофей Заколоченко и Миша Сапунов — отметил про себя, будто впервые видит их здесь), взглянул на стол, спокойно закрыл блокнот, отложил его в сторону, — как бы собираясь с мыслями, — и решительно поднял голову:

— Товарищи, есть еще вопрос. У нас одна деревня стоит несколько в стороне. Я имею в виду Локотовку. Старожилы помнят, какая она была, Локотовка... Да и не только старожилы... А посмотрите на нее сейчас... — Николай Андреевич заметил, что все, кроме Тимофея и Мишки, опустили головы (им-то что...), эти же двое впелись в него глазами: к чему, мол, клонишь? К переселению?.. — Так вот, есть такое предложение: поднять Локотовку, встряхнуть — омолодить, скажем так. А для этого первое, что необходимо, — провести дорогу до Локотовки прямо у ю — от гудовского хмеля. Обработать по деревне и заасфальтировать. Далее, построить несколько таких домиков, как здесь, в Гудовском. Жильцы найдутся. Привести в порядок клуб, библиотеку — это уж само собой...

После «оглушительного» минутного молчания, видимо, не выдержав, запальчиво выкрикнул Мишка:

— Николай Андреевич! Да если б это сделать, да наша б Локотовка! Она еще п-показала б себя!..

— Затраты большие потребуются, — начал было размышлять экономист Федор Феоктистович, но председатель одернул его довольно резко, что за ним в общем-то не наблюдалось:

— Я з-знаю, какие затраты потребуются... Ты вышел за калитку, и тут тебе — дворец, а не клуб, торговый центр, почта, школа, ясли, парикмахерская, а локотовцев не касались эти затраты? Теперь они пусть смотрят на тебя со стороны да помалкивают. Так?!

Все притихли. Даже съежились. Видно, каждому было как-то трудно заглянуть в глаза председателю, — не привыкли к такой резкости.

— Там почти одни старики остались, — промолвил бригадир первой бригады Сергей Котлованов.

— А старикам, по-твоему, белый свет не мил?! Им, значит, лучшему нельзя порадоваться? Они свое отжили? Ошибаешься, Сергей Васильевич! Я скажу вот что: Локотовка не угол престарелых. Там будут жить и молодые. Будут!

— Еще как будут! — снова выкрикнул Мишка.

— Словом, кто за известное вам предложение, прошу голосовать, — спокойнее, но с твердым намерением добиться своего сказал Николай Андреевич.

Руки не тянулись выше макушек, но и не прятались за спину впереди сидящих. Поддержка единодушная.

Когда все вышли из кабинета, Николай Андреевич долго сидел поникший, прикрыв лицо ладонями; о чем он думал, что было на душе?..

Тринадцать месяцев со дня заседания правления колхоза Николай Андреевич жил так, точно весь его организм подзаряжался от собственной выработанной энергии. Казалось, стоило только расслабиться, и угасание неизбежно... Дело началось (после должных разговоров, подсчетов) с «вербовки» техники, добычи гравия, но главное — асфальта. Пришлось помотаться и в район, и в область, и к друзьям... Вроде бы все было организовано как надо, но чтобы столбы сместить по деревне, и за этим не один раз ездил в электросеть. Иногда домой возвращался в полночь. Даже, как в народе стали подмечать, с лица спал и как-то «побурел» председатель.

И вот шестнадцатого августа (конечно же, этот день не забыть Николаю Андреевичу до последнего мгновения жизни, а долго ли, коротко ли — как знать...) сел он за руль газика один, подъехал к гудовскому хмелю, вырулил на прямую, с виду маслянистую дорогу, приостановился, долго смотрел прищурившись, будто придирчиво выверял — нет ли где отклонения от линейки, затем включил скорость, и машина пошла так, что хоть бросай руль, откинись на сиденье и преспокойно завязывай себе галстук, что, кстати, Николай Андреевич очень любил делать, да редко приходилось...

Въехал в Локотовку. Куда повернуть? Налево — к избе отца. Направо? Да, направо. В конце деревни развернуться.

Только он проехал двор Антонины Максимовны, бывшей учительницы, впереди увидел старушек. У Поликарпихиной вербы стоят. И они заметили председательскую машину. Тут же отделилась от своих подружек прихрамывающая бабка Митрофаниха и засеменила с посошком навстречу. Остановился Николай Андреевич, вышел из машины.

— Андреевич,— приложив левую ладонь к сердцу, чуть-чуть запыхавшись, сказала бабка,— низкий тебе поклон, родимый ты наш, за эдакое дело.— И поклонилась Митрофаниха в пояс, правой рукой перехватив посошок пониже.

Николай Андреевич растерялся. Такого он никак не ожидал. Шагнул к бабке — и остановился, покачнулся...

...Долго стоял председательский газик почти посреди дороги. Долго сидел Николай Андреевич со старушками под вербой; уже и валидол истаял под языком, и сердце отпустило, а он сидел и слушал их сбивчивое трепетное щебетание, именно щебетание: «Теперь Ванька мой хоть весной, хоть осенью дак на своей машине приедет, теперь чаще будет...» «А моя Маринка как раз со всей семьей сулится приехать. А муж-то он и городской, и в начальниках ходит...» «Мой внук, Гришка-то, теперь, говорит, бабуля, в городское кино повезу, мотоциклу с коляской покупаю. Он тако-ой...» «А я к своей Полине, дак теперя в Гудовское и своим куриным шагом буду топать. А что — пошел и пошел себе с посохом. По такой дорожке, э-э...»

Когда Николай Андреевич сел в машину, развернулся и поехал к своим старикам, он побоялся оглянуться назад, — да они же, бабульки эти, могут вслед и рукой помахать, и перекрестить — спаси тебя...

Так оно и было.

## КОГДА-ТО БЫВАЛО...

Василий Николаевич Вербников, гражданский пилот, еще в третьем классе сельской школы как прочел впервые строки Пушкина: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса!..», так и остались они у него в душе навсегда.

Каждой осенью в светлые дни он повторяет эти строки и на земле, и в небе. В небе даже чаще. Смотрит с высоты восемь-девять тысяч метров на сияющие леса и замороженно, сам того не замечая, полусшепотом, а то и озорно подмигнув второму пилоту, восклицает: «Приятна мне твоя прощальная краса!..»

И вот в один из таких светлых сентябрьских дней загрустил он по родной деревеньке на Брянщине. Так загрустил — невмоготу стало... Ходил он по квартире из угла в угол, заложив руки за спину, слушал русскую народную песню «Хуторок» в исполнении Людмилы Зыкиной и грустил.

Николай за все свои тридцать восемь лет Василий Николаевич не мечтал о таком смешном-несбыточном (по-мальчишески), как в те минуты. Ему хотелось сейчас же сесть в такси, махнуть на аэродром, а там — на какой-либо вертолет и — курс на Брянщину. Приземлиться за родной околицей и три часа, всего бы три часа побыть дома, посидеть со своей старушкой, да и обратно. С каким бы настроением, с каким мощным зарядом в душе на завтра принялся бы за свое дело.

Так он ходил и ходил по квартире (жена и дочка уехали за покупками) и так смешно мечтал. Но вот очнулся от такой причудливой мечты, улыбнулся и начал вспоминать свои приезды в деревню. Особенно интересно было, когда случалось нагрянуть без предупреждения. Однажды выпало у него несколько свободных дней. Посоветовался с женой и — в деревню. Благо, недалеко — восемь часов езды. Как раз в разгаре было бабье лето. Солнце уже цеплялось за Максимихину липу — клонило к закату, когда толкнул он легкую калитку, которую сам делал. Взшел на крылечко. Прежде чем ступить на порог, притих в сенах, прислушался — есть ли кто дома? Конечно же, как ему того и желалось — слышны были голоса старушек. Интеллигентно постучался. Голоса замерли. Открыл дверь.

— О-ох, го-ость!..

— Здравствуйте!

— Здравствуй, Николаевич, здравствуй!



Пока Василий Николаевич обнимал мать, старушки: Антониха, Маланья, Акулина и бабка Климовна — зашевелились, начали было вставать со своих мест.

— Во, Полина, гость-то нежданный-негаданный...

— А мне в эту ночь и сон снился: залетел во двор голубь, присел на столбик калитки, посидел капелель, поднялся — и нету его, а я и туда кручу головой, и сюда — нету. Не успела хорошенько и разглядеть.

— Вот он и голубь, разглядывай же скорей.

— На сколько ж ты, Николаевич? — спросила Климовна.

— На три дня.

— Ну, что ж тут гадать-разгадывать, сон в руку...

— Давай, Полина, угощай гостя, с дороги человек.

И засобирались старушки.

— Пойдем, бабы, погрелись маленько, а то было на лавочке призябли...

— Э, нет, так дело не пойдет.— Василий Николаевич поспешно начал открывать черный пузатый портфель.— Не годится так...— Он достал мандарины, колбасу, красную рыбу, конфеты.— Никуда я вас, дорогие соседусшки, не отпущу, вот, посидим вместе.

— Да что ж мы тут... Тебе ж, Николаевич, отдохнуть бы надоть...

— Ну-у, отдохнуть, что ж я, в Белоруссию в лес ездил на быках, как когда-то бывало...

— Все ж таки...

— Давайте-ка усаживайтесь, усаживайтесь...

Начали присаживаться старушки, каждая старалась опуститься на краешек стула. А самая молодая из них, Маланья, принялась помогать хозяйке собирать на стол.

— Очень мне хочется, чтоб прожили вы все по сто лет! — весело сказал Василий Николаевич.

— О-ой, по сто! Много это, больно много. Кому такие люди нужны. Вон по семьдесят пять прожили и то скукожились...

— Не ной, Климовна,— усмехнулась Маланья.

— Дак ты мало-оже...

— Кушайте, бабы, кушайте,— обратилась к соседкам мать Василия Николаевича.

Робко потянулись к мандаринам.

— Как это их?..

Василий Николаевич очистил всем по одному.

Кроме Антонихи, все они жили одиноко. Мужья погибли на войне, сыновья и дочки — кто где...

— А скажи-ка, Николаевич,— начала Маланья,— каждый раз, когда собираешься лететь, с семьей прощаешься?

— Да они и внимания не обращают на это дело. Ухожу из дому, как будто в магазин за сигаретами.

— А самому не страшно?

- Нет. Не страшно.
- А всякие такие случаи бывают?..
- На белом свете все бывает...
- А скажи, Николаевич, небось, деньги большие идут?..
- И-эх, Николаевич! Прокатил бы ты нас хоть разочек на своем самолете, — прямо-таки озорно подмигнула Маланья.
- Да-да, — отозвалась Акулина, — глянула б вниз и душеньку б свою уронила...
- Ой гляди-ко, люди ж летают...
- Люди... Мало что люди...

А Василий Николаевич смотрел на них и думал: «Какие ж вы все... Сколько горя перенесли. С детства все знаю... Да я б вас каждую на руках поносил, а не только на самолете».

— А что, — не унималась Маланья, — вон Федора-то Петровна летала в Брянск. Правда, рассказывала, затошнило, схватила пакет, дак едва успела...

— В таких самолетах, как я летаю, не тошнит. Там почти совсем не замечаешь, что летишь, — сказал Василий Николаевич.

И пошли, пошли воспоминания... Старушки даже не выдерживали, не могли до конца дослушать разговор одной, старались поскорее каждая свое выложить. Все вспомнили: и коллективизацию, и войну, и послевоенное время... А когда наговорились вволюшку, начали подниматься, собираться по домам...

— Ох, пьяна я, пьяна, — шутиво завела Климовна, — не приду домой рано, увела меня темна ноченька вдоль вишневого сада... Эх, когда-то бывало! Далеко ты, наша молодость!..

— Пойдем, бабы, пойдем, — властоватым голосом сказала Антониха, — гостю отдохнуть надо...

Василий Николаевич проводил их за калитку.

— Ну пошли мы, пошли, Николаевич, спасибо! Нагостились негаданно.

Остановился Василий Николаевич, закурил и стал смотреть им вслед. Прошли они до колодца, оступилась Климовна, и Акулина предложила:

— Давайте-ка, девоньки, за руки, за руки возьмемся... Погляньте, стемнело уже.

Взялись старушки за руки, не под руку, а ладонь в ладонь, и пошли, пошли помаленьку, громко разговаривая...

У Василия Николаевича подкатил ком к горлу, он почувствовал — вот-вот навернется слеза. И отчего бы... казалось...

## ТЕМ БЫ И ЖИЛА...

Последние полтора-два года он стал приезжать особенно часто. Мать прихварывает — слабеет. Гостит он недолго — трое-четверо суток, кое-когда и неделю поживет. Его даже мало кто видит; пройдет

до двора сестры, в Калиново сходит — навестит дядю, остальное время находится с матерью; если приезжает в начале лета, копается в огороде (видели бабы, будто помогал даже картошку окучивать), если осенью или зимой — тоже находит себе какое-либо дело. Живет он в Ленинграде; какая у него должность и работа — никто толком не знает, говорят, что находится при научно-исследовательском институте, словом, ученый человек. Он и в детстве был сообразительным и настойчивым, хотя после семилетки пришлось идти работать; отец не вернулся с фронта, время было трудное, а главное — десятилетка находилась больно уж далеко — слишком накладно выходило для матери: нужно было квартиру снимать, снабжать продуктами, покупать учебники, справлять одежду, обувь, а копейка и кусок хлеба добывались с трудом, да и великим. Так до армии в колхозе и работал он — Володя Родинов, а потом — многим его сверстникам знакомый путь: работа в слесарной мастерской, вечерняя школа, институт, снова работа и защита кандидатской диссертации.

Несколько раз Владимир Иванович приезжал с семьей: с женой Эммой и сыном Алешкой, но чаще наведывался один.

Много времени прошло с той осенней тихой полночи, когда в последний раз горячо, жадно целовала его, Володю, Таня Орестова, много, как говорится, воды утекло с той прощальной минуты, когда уже и пыль рассеялась, и скрылась за березовой рощей веселая тройка, уносящая призвынников, и слегка подзахмелевший народ расходился по домам, а она, Таня, медленно идущая с девчатами, нет-нет да и обернется и глянет на дорогу, которая увела ее любовь.

Красивая она была, Таня, очень красивая. И удивительное дело, такие женихи ходили вокруг нее — демобилизованные ребята из своей деревни, заливатские парни из других сел, даже городские, устанавливающие машины на торфяном болоте, сулили ей райскую жизнь — нет, хотя Володя и не выделялся ни атлетической фигурой, ни черными кудрями, а главное — он был моложе Тани на два года. Мать ее и ласково с ней толковала, и в сердцах такого нагоняю задавала, что аж до слез доводила Таню, мол, таких парней отталкиваешь из-за своего балалаечника (Володя любил вечером под своими окнами на лавочке потренькать на балалайке), но ничто не могло убедить Таню не встречаться с Володей, даже в любую непогоду — раскаленные камни падай с неба — выйдет к нему.

После ухода Володи в армию многие облегченно с надеждой вздохнули: и женихи, и мать; три года — не три недели, мол, долго не засидится девка в кате — пойдет на танцульки, а там... приглянется кто-нибудь. Так оно и случилось-получилось...

Через полтора года вышла Таня замуж за бойкого демобилизованного сержанта из Кургановки; вышла да не пошла с ним в его «захудалую» Кургановку — пришел он к ней; хата большая, старшие сестры давно замужние, мать молодым не помеха...

Вот и время с той поры уже на третий десяток перевалило, и трое Таниных детей выросли; старший скоро из армии вернется, и муж успел по пьянке (хотя и скрыл это) руку сломать и получить пенсию по инвалидности, и она бессменно отработала уже четырнадцать лет продавцом своего деревенского магазина; уважают ее и свои люди, и сельповские работники, и все как будто в жизни сносно получается,— но услышит новость, что приехал Владимир Иванович, и забьется сердце, и запылают щеки с маленькими, едва заметными ямочками, и поглядывает Татьяна Михайловна на каждого открывающего дверь магазина с опаской и щемящей тайной надеждой... А он, Владимир Иванович (только так его все и называют в деревне, и пожилые люди, и младшие), когда заходит в магазин, улыбнется, тихо поздоровается, купит что надо — и пошел... Больше ни слова, ни полслова... Да и не случилось ему застать Татьяну одну в магазине — всегда народ толчется у прилавка.

Раньше Татьяна вроде бы и не замечала за собой такой душевной тревоги в дни приезда Владимира Ивановича. Приехал, ну и приехал; встретится — поздоровается и пошла себе мимо; екнет, конечно, сердце, да и все на этом; но последнее время с каждым его приездом становилось ей ну прямо уж совсем не по себе... И еще ее мучило одно — не с кем в деревне поговорить по душам, нет такой верной подруги. Наоборот — деревенским людям дорого только дать хоть малейший повод для разговоров — такой раздуют пожар, что очень долго и на пепелище жарить свои языки будут. Правда, одному-единственному человеку она выкладывала все, что с ней творилось,— Тамаре, Тамаре Васильевне, бухгалтеру на базе. Несколько лет тому назад пришлось им вместе в одной компании отмечать праздник — День работника торговли; Тамара — женщина веселая, любительница русских народных песен, а Татьяна тоже песенница ого-го какая, вот, попросту говоря, и спелись женщины. У Тамары в жизни не совсем складно получалось: с первым мужем давно разошлась, второй последнее время дурить начал, а дети растут — от первого и от второго...

По работе встречаться им приходится часто, но задушевный разговор они ведут довольно редко: когда уж у кого-то из них так накопится на сердце, что терпелу никакого нет, тогда они чинно заходят в кафе и сидят себе часа два-три.

Татьяна жаловалась Тамаре, что не может она никак понять сама себя. То ли старость на подходе, то ли, как говорится, бес в ребро (живет же такая песенка: «Бабе скоро сорок пять, баба ягодка опять...»), хотя еще и далеко до сорока пяти, а ноет сердце по давнишней любви, да и крепко, и хоть ты с ним делай что хочешь...

И еще одна беда: муж, чувствует ли он душой что-то или уж так совпадает, но когда Владимир Иванович приезжает, он в те дни

где-то выпивает и так назойливо пристаёт со своими ласками, что хоть в окно прыгай...

Кажется, ничего бы и не надо, кроме единственного: сесть бы с ним рядом где-либо подальше от всяких глаз да наговориться бы вволюшку, да прикоснуться бы к его уже седеющему чубу, да руки б его подержать в своих, и огрубевших, конечно (от земли, от картошки, от магазинной рыбы мороженой), и давно уже позабывших ту Володину нежность, когда он гладил ее пальцы и удивлялся их красоте, — тем бы и жила, но последнее время не выпадала такая минута, когда бы с глазу на глаз хоть двумя словами перемолвились. И вот еще что обидно: говорят, о чем думаешь, то и приснится не раз, сколько уж думала о нем — хотелось, чтоб хоть во сне приснился, — не посчастливилось.

...Владимир Иванович приехал в конце сентября. Он любил спокойно «пошуршать листьями» — задумчиво побродить по ближнему лесу, подышать бодрым воздухом, набить оскомину манящей крупной рябиной. Дни стояли тихие, светлые. Владимир Иванович, наговорившись с матерью, решил, не откладывая на завтра, сходить в лес, может, соберет рябины, жена заказывала. Он взял старенькую кошелку, пахнущую антоновкой, прикрыв глаза, блаженно, всей грудью вдохнул этот запах детства (его это яблоко всегда своим ароматом на мгновение возвращало в те загадочные минуты, когда он впервые сидел за партой и внимательно прислушивался к каждому слову учителя; сбоку было открыто большое окно и пахло яблоком — антоновкой), вышел в огород, сорвал две крепкие желтые груши и напрямик направился в сторону молодого березняка.

Татьяна за прилавком узнала о приезде Владимира Ивановича, вышла на минуту в склад, погляделась в осколок зеркала, прислоненный к спичечному ящику, улыбнулась сама себе, потом вздохнула, поправила волосы, одернула халат. Она уже было хотела закрывать магазин после утренних часов работы, но раздумала, задержалась. Через некоторое время, тяжело, с хрипотцой дыша, вошла бабка Емельяниха.

— Здоровенька была, Татьянушка, — сказала она, постукивая палочкой, подходя к прилавку. — Во, покуль доковыляла до твоего магазина, и силушка вся кончается. А бывало в такую погоду работаешь дотемна, и все тебе ничпочем... Вон сосед мой, Володимир Маланьин, приехал утречком, а уже гляжу — в лес направился с кошелкой.

— Что тебе, баба Оля, отпустить, — перебила ее Татьяна, — за чем пришла?

— А что ж мне, голубушка, — сахару с килограммчик для взвару да баночку для заправки борща этого, как его...

— Томату?

— Да-да, его, да спичек с полдесятка коробков, и все.

Только что закрылась дверь за бабкой Олей, Татьяна сразу же засобиралась уходить из магазина. Она поспешно снимала халат, выдвинула ящик, взглянула на деньги, вырученные за утро, их было немного, и она, спокойно махнув рукой, оставила их на месте, взяла замок и быстро шагнула за порог, опасаясь, чтобы кто-то подошедший не уприсил вернуться.

Татьяна знала, куда она сейчас пойдет, после того как заскочит домой, да, знала куда, но не знала зачем, поэтому и внушала себе: все равно надо в Костяникино сходить, поговорить с председателем насчет крытой машины — ситцу побольше хочу завести, обуви почти никакой нет, сахару и соли припасти: осень на дворе, всем требуется и то и другое... А когда дорога пойдет через кусты... да, через кусты пойдет, сверну и пройдуся по лесу... А если... если встречу, скажу, что рябины зашла нарвать... Дома она выпила стакан молока, переоделась, взяла зеленую с кармашками сумку, еще раз пристально поглядела на свое лицо в зеркало и решительно хлопнула дверью.

Татьяна шла быстро. Когда проходила мимо школы, почувствовала, будто бы ее в жар бросило, как раз была перемена, и дети резвились вовсю, но она не повернула головы в ту сторону, а еще прибавила шагу.

Но вот дорога начала входить в редкие кусты ивняка, ольшаника, и Татьяна облегченно вздохнула. Ей казалось, что за спиной не только деревня осталась, там осталось что-то другое, необъяснимо смущающее ее душу. Она шла и шла по дороге в Костяникино. Кусты поднимались выше. Уже можно было сворачивать влево и шаг за шагом углубляться в лес, но Татьяна глядела на широкое поле по правую сторону и шла прямо. Трудно сказать, о чем она в те минуты думала. Вдруг Татьяна остановилась, оглянулась, постояла с минуту, провела рукой по лицу, будто снимала невидимую паутинку, потом взглянула в сторону леса, еще мгновение подумала и — свернула с дороги.

Метров двести она шла быстрым шагом, стала спускаться с Дубнячкового пригорка и тут едва не упала, зацепившись ногой за срубленный пружинистый сучок.

— Да что это меня так несет, как на крыльях... — вслух сказала она и пошла медленно, поглядывая на желтые березы, дубки, пылающие клены.

В лесу Татьяна бывала не часто, может быть, потому она почувствовала, как подступает к душе что-то такое радостно-щемящее, готовое вот-вот сотворить с ней непонятно что, словом, Татьяне захотелось просто-напросто поозоровать: подпрыгнуть и сорвать красный лист клена, закружиться в вальсе и даже крикнуть громко: эге-ге-ей! Так она шла и шла себе, раскованно, беспечно. Солнце сияло,

птицы перекликались, трактора где-то гудели — кругом была золотая осень, кругом была светлая осенняя жизнь.

И вдруг Татьяна замерла на месте — совсем недалеко послышались голоса. В одно мгновение как будто звонкие лучи ее прекрасного настроения сократились, сжались в комочке гулко бьющегося сердца — она присела под некрасивой раздвоенной березой. Прошли две-три минуты, голоса приближались, но не прямо к ней — разговаривающие шли мимо, по направлению к деревне. Татьяна встала, отошла чуть подальше и прислонилась к толстому приземистому дубу. Она увидела идущих и еще плотнее прижалась к шершавому стволу. Первым шел Владимир Иванович, сзади него приотстал на шаг, чтобы прикурить, лесник Ефим Петрович.

«Господи,— прошептала Татьяна,— если уж не судьба, так не судьба... Ну что за лихо привело сюда в такой час лесника этого? Лес-то на все три стороны, за день не обойдешь, нет, надо же ему оказаться тут и встретить его. Теперь уж все,— вздохнула она,— Ефим Петрович не отстанет от него. Видать, к себе зазывает...»

Татьяна затаилась, когда они находились против нее, а когда прошли — выглянула, еще раз глубоко вздохнула и до боли в глазах, до тумана стала вглядываться в его плечи, чуть-чуть усталую походку, прислушиваться к его словам. Но говорил он тихо, и ни одной фразы не удалось уловить Татьяне. Когда же они скрылись за деревьями, Татьяна хотела пройти за ними, только не следом, а параллельно, уже было и шагнула, но — остановилась, сникла совсем, присела под дубом.

«Куда мне идти,— шептала она сама себе, комкая в пальцах пожухлый лист,— что я надумала... Дура набитая, да и только... Разве хоть что-нибудь изменится... Ох, увидел бы меня кто... Да, увидел бы кто... Но разве я виновата, что у меня так нехорошо на душе последнее время... Неужели это та самая любовь, о которой в книжках пишут и в кино показывают? Это ж было так давно, что триста раз можно выкинуть из головы и... и из сердца. Да раньше так и не думалось... Получается, как бы в отместку... Теперь уж куда кинешься?.. Надо помалу жить как живется, да и ладно...»

Татьяна встала, еще раз посмотрела в ту сторону, вздохнула и пошла к дороге, чтобы все-таки дойти до Костяникина.

Назавтра Татьяна работала как всегда и в магазине от нечего делать не задерживалась. А через день Владимир Иванович уезжал. По пути к автобусной остановке заглянул в магазин. Татьяна как глянула на него, так и запылала вся. Благо, что у прилавка стояли бабы из соседнего хуторка Кочкина.

— Здравствуй, Таня! — сказал он так весело и легко, что у Татьяны дрогнула рука, и две круглые конфеты соскочили с покачнувшихся весов к бабам под ноги.

— Здравствуй, Володя,— ответила она с улыбкой.

— Слышал я, Таня, что у тебя тут бывает частенько индийский чаек, не добуду ли я? У нас его поискать надо, а искать некогда. Вот на трое суток вырвался, приехал, а дела там копятяся...

— Ах, если б ты на две недели раньше...— искренне огорчилась Татьяна,— был, и летом несколько раз привозила. А сейчас — ни одной пачки... Когда-то у нас тут мало кто чай пил, а теперь коров не все держат, особенно старики, на чаек нажимают, но больше приезжие берут.

— Да, Таня, когда-то были другие времена...— пристально посмотрел на Татьяну Владимир Иванович и, когда она опустила глаза, кашлянул.— Что ж, до свиданья, Татьяна,— сказал он бодро, но грустноватым голосом, что и больно кольнуло ее в сердце.

— Знала б, когда следующий раз приедешь, может, и смогла б припасти чаю,— сказала Татьяна, глядя ему прямо в глаза.

Владимир Иванович вздохнул.

— Сказать когда, точно не могу, но зимой думаю навестить свою старушку.

Ушел он. Ушли кочкинские бабы, присела Татьяна на мешок с горохом, уткнула лицо в ладони и крепко призадумалась. Посидела какое-то время, пока не услышала, что кто-то открывает дверь. Встала. Не глядя на входящего в магазин, стоя, прищурившись, еще какое-то мгновение продолжала о чем-то своем думать, а потом сама себе улыбнулась, просветлела лицом и весело взглянула на стоящего у прилавка глухонемого деда Никиту.

Видимо, правду говорят, что первая любовь не ржавеет.



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Из детства Андрея Чернышева . . . . .	3
Первая примета . . . . .	16
В пору зрелости табака . . . . .	24
Другой коленкор . . . . .	32
Когда-то бывало... . . . . .	38
Тем бы и жила... . . . . .	40

**Алексей Титович МЕНЬКОВ**  
**В ПОРУ ЗРЕЛОСТИ ТАБАКА**

Редактор Д. К. И в а н о в

Технический редактор О. Н. Л а с т о ч к и н а

---

Сдано в набор 04.01.86. Подписано к печати 12.03.86. А 00651. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,05. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000 экз. Изд. № 873. Зак. № 2187. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской  
Революции типография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,  
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

### **● Будьте осторожны при пользовании предметами бытовой химии**

● Препараты бытовой химии (полироли, пятновыводители, мастики, лаки, краски и т. п.) в своем большинстве изготовлены на горючей основе. Некоторые из них выпускаются промышленностью в аэрозольной упаковке, поэтому при пользовании всем многообразием предметов бытовой химии необходимо соблюдать меры предосторожности. Нельзя их хранить в местах с повышенной температурой или рядом с источниками огня. Перед использованием ими необходимо ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя.

● Особое внимание и осторожность в обращении требуются при пользовании бензином, ацетоном, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Небрежность, недомыслие, а порой просто незнание, несоблюдение элементарных правил влечет за собой тяжелые ожоги и травмы.

● Не пользуйтесь предметами бытовой химии и легковоспламеняющимися жидкостями при наличии открытого огня!

**Центральный совет Всероссийского  
добровольного пожарного общества**